Crème de la Crème

Джеймс Парди

МИСТЕР ИВНИНГ

Перевод Валерия Нугатова
и Дмитрия Волчека

МИТИН ЖУРНАЛ

ББК 84.4 США

В оформлении обложки использована фотография Вивиан Майер

Редактор: Дмитрий Волчек
Руководство изданием: Дмитрий Боченков
Верстка и обложка: Дарья Протченкова

©James Purdy, 1965, 1991, 2005
©Митин Журнал, 2011

ISBN 978-5-98144-140-0

Содержание

Мистер Ивнинг, *перев. В. Нугатова* 6
Вечеринка у Лили, *перев. В. Нугатова* 35
Летние известия, *перев. Д. Волчека* 50
Рассвет, *перев. Д. Волчека* 62
Рикошетом, *перев. В. Нугатова* 67
Голубой котик, *перев. Д. Волчека* 80
Encore, *перев. В. Нугатова* 106
Спокойной ночи, любимая, *перев. В. Нугатова* 117
Брэвис, *перев. Д. Волчека* 132

МИСТЕР ИВНИНГ

– Ты недавно спрашивала, Перл, чем зарабатывает на жизнь тот высоченный молодой господин – мистер Ивнинг, что так часто проходит мимо нашего дома, и, кажется, я это выяснила, – сказала миссис Оуэнс своей младшей сестре, сидя на кресле, заваленном узорчатыми подушками.

Миссис Оуэнс выглядывала из большого окна фасада: днем тяжелые ставни открывали, чтобы она могла полностью обозреть улицу.

Миссис Оуэнс сделала длинную паузу, желая возбудить любопытство Перл, и принялась увлеченно рассматривать лица прохожих. У миссис Оуэнс и впрямь остались лишь два занятия: править нескончаемый перечень фамильных ценностей да наблюдать за теми, кто проходил под окном, – оградив себя от улицы массивными засовами из кованой стали.

– Если хочешь знать мое мнение, Грейс, мистер Ивнинг довольно часто выходит из своего пансиона и возвращается обратно, так что у него, наверное, куча дел, – наконец нарушила молчание Перл.

Выйдя из раздумий, миссис Оуэнс улыбнулась:

– Разумеется, мы всегда знали, что он очень занят, – она взяла с колен клочок газеты и на миг зажмурилась в закатных лучах январского солнца. –

Но теперь-то мы знаем, чем он занимается.

Она слегка помахала вырезкой.

– Только не пугайся, детка, – миссис Оуэнс чуть не рассмеялась. – Пожалуйста, взгляни вот на это, – и она протянула девушке довольно пространное платное объявление, аккуратно вырезанное из «Уолл-стрит джорнал».

Пока Перл надевала толстые очки, дабы разобрать мелкий шрифт, миссис Оуэнс продолжала – для сестры и для себя:

– Мистер Ивнинг всегда будил во мне особое чувство, – она коснулась кулона. – Он выглядит слишком праздным для своих лет, но, с другой стороны, ты правильно указала, что у него гораздо больше дел, чем у тех, кто исполняет ежедневные обязанности.

– Средства, Грейс, – сказала Перл, сощурившись при чтении, но не объясняя своей реплики. Объявление представляло собой отчаянную мольбу о сведениях, касающихся некой редкой фарфоровой чашки *circa*[1] 1910 года. – У него есть средства, – повторила Перл.

– Средства? – недовольно переспросила миссис Оуэнс. – Что ж, хотелось бы надеяться, что в столь затруднительном положении они у него есть, – она намекнула, что знает о нем кое-что еще, но в ее голосе чувствовалось раздражение, вызванное слегка бесцеремонным, скучающим тоном Перл.

– Разумеется, я пригласила его по телефону, – миссис Оуэнс решила больше не подготавливать сестру и одним махом выложила ей весь план. – Естественно, в четверг.

Отложив объявление, Перл ждала, что миссис Оуэнс как-нибудь обоснует столь необычное решение, но разъяснений не последовало.

---

1 Примерно *(лат.)*.

– Но ты же никогда ничего не продавала и даже никому не показывала! – в глубокой тревоге все обдумав, через пару минут воскликнула Перл.

– Да кто говорит о продаже! – миссис Оуэнс туже затянула серьгу. – А что касается, как ты выразилась, *показа*, я об этом даже не думала… Разве ты не понимаешь, бедняжка, – тут в голосе миссис Оуэнс почувствовалась не самозащита, а, скорее, самооправдание, – я полстолетия не встречала никого, кому бы так сильно понадобились реликвии, – она хлопнула рукой по вырезке. – Он тщательно подбирал каждое слово лишь с одной целью – привлечь мое внимание.

Перл отшатнулась в недоумении.

– Разве ты не понимаешь, что именно так все и было? – миссис Оуэнс снова коснулась пальцами объявления. – У кого еще есть перечисленные им вещи? Очевидно, он разузнал о моих сокровищах и вставил все в текст, надеясь, что тот попадется мне на глаза.

– Но ты же не собираешься приглашать в дом всех, кому нужны твои сокровища! – неожиданно для себя Перл впервые в жизни не просто не согласилась с сестрой, а выразила неодобрение.

– Ну и ну, да ты же сама недавно сказала, что нам не хватает общения! – миссис Оуэнс искусно вложила эти слова в уста сестры, с которых они никогда не могли бы сорваться.

– Но мистер Ивнинг! – Перл возразила против его прихода, не приняв во внимание или запамятовав, что ей приписали то, о чем она даже не думала.

– Разве мы не нуждаемся в человеке, который расскажет нам о реликвиях? Разумеется, о *наших* реликвиях. Ведь ты же сама постоянно об этом твердишь!

Миссис Оуэнс пыталась заставить сестру согласиться, признать свое соучастие в том, чего она не совершала, и вдруг обнаружила, что разум и чувства Перл не готовы к этому обсуждению.

– Совсем недавно кто-то сказал мне, – теперь уже сама Перл намекнула на какую-то сторону своей жизни, возможно, неизвестную миссис Оуэнс, – что молодой человек, о котором ты говоришь, мистер Ивнинг, с трудом способен поддержать беседу.

Миссис Оуэнс помолчала. Она не сидела, сложа руки, а самостоятельно навела справки об их будущем госте и узнала, что он не только южанин, но вдобавок не любит балабольства.

– А нам и не нужен интересный собеседник – по крайней мере, *на эту тему*, – сказала миссис Оуэнс почти с яростью, подразумевая под *этой темой* реликвии. – Нам необходим ценитель, и я считаю: чем он *безмолвнее*, тем лучше.

– Но если ты нуждаешься в нем только для этого, – Перл не хотела сдаваться, – он ведь раскусит твой план. Поймет, что ты просто показываешь то, чего ему никогда не приобрести.

По все еще красивому лицу миссис Оуэнс пробежала тень глубокого, окрашенного злобой разочарования.

– Ну и пусть он *раскусит*, как ты выразилась, наш план, – проворчала миссис Оуэнс на сестрино возражение, – плевать! Разве ты не понимаешь: если он не умеет поддержать разговор, тем лучше. Мы пригласим его на осмотр, и его оценка нас приободрит. Наблюдая за ним, дорогая, мы воскресим в памяти собственные достижения… Не будь так сурова… И помни: мы здесь не навсегда, – заключила она с какой-то жестко-величавой ноткой в голосе, не ускользнувшей от младшей

сестры. Затем миссис Оуэнс подытожила: – Хотя нам самим дать ему нечего, вполне вероятно, он способен дать кое-что нам.

Перл ничего не ответила, а миссис Оуэнс прошептала:

– У меня ни капли сомнения, что я права насчет него, но если вдруг окажется, что я ошибаюсь, беру всю вину на себя.

10 У миссис Оуэнс оставалась лишь капля сомнения, но мистер Ивнинг испытывал гораздо больше опасений, обдумывая у себя в пансионе собственное опрометчивое решение посетить грозную миссис Оуэнс – не на ее фирме, ибо таковой не существовало, а в окружении ее реликвий, причем мистер Ивнинг вынужден был признать, что и сам принадлежит к их зыбкому миру. Он всегда плохо разбирался в людях, был одним из незначительных коллекционеров и потому недоумевал, откуда миссис Оуэнс взяла, будто он может ей что-либо предложить, а поскольку ее легенда была ему слишком хорошо известна, он знал, что ей тоже нечего ему предложить, помимо беглого осмотра. Заходить к ней было рискованно, и мистер Ивнинг это предчувствовал после странноватых предостережений тех, кто имел с ней дело, но стоило все же проникнуть внутрь, хотя сведущие люди также говорили, что ему вряд ли позволят завести речь о покупке и едва ли разрешат взглянуть на что-нибудь вблизи.

С другой стороны, если миссис Оуэнс хочет ему что-либо сообщить (промелькнуло у него в голове, пока он шагал к ее огромному дому с колоннами, не в силах даже смутно представить, что́ мог бы сказать ей сам), и если она настолько безумна, что полагает, будто он способен ее развлечь – ведь

она все-таки одинокая пожилая женщина, одной ногой в могиле, – он освободит ее от всех подобных иллюзий, как только они познакомятся. Он стеснялся старух, хотя по работе проводил с ними больше всего времени, и наконец признался вслух самому себе, что хочет ту фарфоровую чашку 1910 года с ручной росписью, в какую бы сумму она ни обошлась. Он воображал, что миссис Оуэнс, возможно, уступит ее по какой-нибудь зверской противозаконной цене. Это было столь же неправдоподобно, как и само ее приглашение. Миссис Оуэнс никогда никого не приглашала со стороны, а все близкие люди в ее жизни либо умерли, либо уже были не в состоянии ходить по гостям. Но его же вызвали, и значит, он мог надеяться хотя бы на осуществимость того, о чем твердили остальные, – на покупку, а если и это не суждено, оставалась последняя невероятность – осмотр.

Однако мистер Ивнинг не умел притворяться. Если для получения фарфорового изделия или, еще невероятнее, других реликвий покрупнее, оберегаемых от дневного света и человеческих глаз и запертых на верхних этажах над ее гостиной, – если для обладания ими потребуется несколько часов заискивать, болтать, смеяться и обедать, убив на это целый вечер, – в таком случае увольте, ни за что в жизни. Он полагал, что неумение притворяться мешает ему продвинуться в торговле антиквариатом, ведь хотя здесь в Бруклине у него была собственная фирмочка, держаться на плаву помогали лишь частные доходы, а незаурядные для молодого дельца реликвии, которыми он обладал, все же не позволяли стать крупной фигурой в своей профессии. Учитывая его неприметное место, приглашение миссис Оуэнс казалось еще более необъяснимым и даже удивительным. Впрочем,

мистер Ивнинг слишком плохо разбирался в людях и в тонкостях собственного ремесла, так что он не сильно поразился или испугался.

Тем временем Перл, за несколько минут до прихода мистера Ивнинга взглянув краем глаза на сестру, с величайшим смущением и ужасом заметила на лице старухи предательское выражение: миссис Оуэнс хотела заполучить мистера Ивнинга с той же капризной маниакальностью, с которой некогда искала один редчайший средневековый испанский стул. Каким образом она им завладела, до сих пор оставалось для перекупщиков загадкой.

– Тогда без долгих разговоров заключим сделку? – нараспев сказала миссис Оуэнс, даже не глядя на мистера Ивнинга, явившегося ненастным, снежным январским вечером.

Гостя охватила молчаливая замкнутость, непривычная даже для него, когда он наконец увидел миссис Оуэнс собственной персоной – женщину, что слыла очень старой, но отличалась при этом немыслимой красотой. Ее одежда благоухала цветочными чарами, обволакивая ноздри ароматом сухих древесных духов, а голос звучал изящным колокольным перезвоном.

– Разумеется, я не говорю о продаже! Не могли же вы, при всей своей молодости, на это рассчитывать, – она сразу отмахнулась красноречивым жестом белых рук от всякой коммерции. – Здесь ничего не продается – только через наш труп, – она взглянула уже не столь вызывающе, но он все равно в стеснении заерзал.

– Что бы вы ни думали и что бы вам ни говорили, – теперь она перешла к невероятному факту их встречи, – должна сказать, что я не в силах

устоять, если кто-нибудь ими восхищается (она, конечно, имела в виду реликвии). – Миссис Оуэнс развернула клочок газеты с его объявлением. – По вашей манере выражаться, – она коснулась бумаги, – я тотчас поняла, что вы о них все знаете. Или, точнее, я узнала, что вы знаете о них, по тому, чего вы не написали. Я поняла, что вы способны восхищаться – необузданно и безоговорочно, – в заключение она низко поклонилась.

– Я рад, что вас не интересует, кто я, – он начал осматриваться в просторной высокой комнате, – и что вам не хочется узнать обо мне больше, ведь, к сожалению, я не смог бы удовлетворить ваше любопытство. Иными словами, мне почти нечего сказать о себе, а мое призвание вам известно и так.

Она подождала, пока эта речь не умолкла в тишине, будто назойливый шум уличного движения, исподволь проникавший в гостиную, но, заметив его беспомощный поникший взгляд, сказала, видимо, пытаясь утешить:

– Я не любопытствую о том, что привлекает мое внимание, мистер Ивнинг: все становится явным само по себе… К примеру, – продолжила она с притворным гневом, – люди иногда пытаются напомнить мне, что когда-то я была знаменитой актрисой, но этот факт к делу не относится, более того, он уже не имеет смысла, ведь даже в те далекие дни, когда я еще была на сцене, даже тогда, мистер Ивнинг, все это, – она обвела властным жестом белых рук роскошную обстановку, – меня вполне удовлетворяло!… Мне кажется, мистер Ивнинг, нас по-настоящему интересуют лишь люди, с которыми мы даже не собираемся знакомиться, – заключила миссис Оуэнс.

Тут она поднялась и минуту постояла, выпрямившись в полный рост, – он сидел в низеньком мягком кресле, – а затем, подойдя к небольшому красивому столику из бразильской цезальпинии, взглянула на стоявший на нем предмет. Внимание мистера Ивнинга было поглощено миссис Оуэнс, и он не сразу понял, куда направлен ее неподвижный, спокойный взор. Она даже не коснулась предмета на столе. Хотя зрение чуть затуманилось, мистер Ивнинг посмотрел теперь прямо туда, узнал и понял, что ошибка исключена: бледно-розовая фарфоровая чашка 1910 года в виде раковины и с ручной росписью!

– Не нужно подносить ближе! – воскликнул он, и даже миссис Оуэнс вздрогнула от такого прилива чувств. Мистер Ивнинг побелел.

Он безуспешно искал в кармане носовой платок, и, заметив его страдания, миссис Оуэнс протянула полу собственного платья.

– Я не собираюсь вас умолять, – сказал он, вытирая лоб платком. – Разумеется, я могу предложить вам что угодно, но не стану умолять.

– Как же вы тогда поступите, мистер Ивнинг? – она подошла к нему вплотную.

Он сидел перед ней, слегка наклонив голову вперед и повернув руки ладонями кверху, словно проверяя, идет ли дождь.

– Не отвечайте, – сказала она громко и весело, – никто не ждет от вас ни мольбы, ни сделки, ни уговоров, ни кражи. Кем бы вы ни были, мистер Ивнинг, – а по вашему акценту я уловила, что вы южанин, – слава Фортуне, вы никогда не были актером. Это одна из причин, по которой вы здесь: вы всегда остаетесь самим собой… И попомните мои слова, – миссис Оуэнс прошагала мимо его стула к тяжелой шторе из золотой парчи, и ее

голос загремел почти угрожающе, – я позволила вам взглянуть на эту чашку не с тем, чтобы вас завлечь. Я просто хотела показать, что прочла ваше объявление, написанное специально для меня. Более того, как вы понимаете, я не заключаю с вами сделку в каком-либо общепринятом смысле. Мы оба выше этого. Между нами никогда не будут упоминаться деньги, документы или подписи, это само собой разумеется. Но мне кое-что нужно, – она отвернулась от шторы и устремила на него светло-серые глаза. – Вы ни на кого не похожи, мистер Ивнинг, и именно это ваше качество, не скажу, покорило меня (вам не под силу кого-либо покорить), но вернуло мне важную частичку меня самой – просто потому, что вы такой и так сильно хотите того, чего хотите!

Полностью накрыв ее носовым платком лицо, так что голос доносился, словно из-под простыни, он промямлил:

– Я не выношу общество, миссис Оуэнс, – от этих слов она словно примерзла к шторе. – А общество, к сожалению, включает вас и вашу сестру. Я не могу приходить и разговаривать, не люблю званые ужины. Но если бы я их любил, то безусловно предпочел бы вас.

– Поразительная откровенность! – миссис Оуэнс растерялась, не зная, куда ступить, на что смотреть. – И восхитительное хамство! – она быстро все обдумала. – Хорошо, очень хорошо, мистер Ивнинг… Но на *хорошем* далеко не уедешь! – воскликнула она, повысив голос до оглушительной громкости, и с удовлетворением отметила, что мистер Ивнинг нервно заерзал. Платок упал, и к ней наклонилось густо покрасневшее лицо с закрытыми глазами.

– Вам не придется разговаривать, – миссис Оуэнс отвергла эту мысль с некоторым отвращением, – и не придется слушать. Если хотите, можете храпеть в своем кресле. Но если вы будете приходить, скажем, раз в неделю, для начала этого более чем достаточно. Вы могли бы считать этот дом неким залом ожидания – ожидания того дня, который обязательно наступит для всех, и в первую очередь – для нас… Вы будете ожидать, например, в четверг, а мы выделим вам эту комнату и еду, которой вы вправе пренебречь: вам нужно просто коротать время. Я могла бы показывать вам, – она мельком взглянула на чашку, – ту или иную вещицу, разумеется, всего пару штук за посещение, и это бы скрасило ваше ожидание, – она усмехнулась. – Но, безусловно, я еще долго не покажу вам того, что хранится вон там, – она кивком указала на верхние этажи. – Наконец, если вы продолжите свои визиты, могу вас заверить, что ваше ожидание *окупится*, как сейчас принято выражаться… Не стану вдаваться в дальнейшие подробности.

Внезапно она завершила объяснение и взмахом руки показала, что он может встать и удалиться.

Таким образом, четверг, отведенный миссис Оуэнс для посещений мистера Ивнинга, грозно маячил перед обоими роковой и даже зловещей датой в календаре: на самом деле, хозяйку реликвий и их осмотрщика переполняли дурные предчувствия. Нелюбовь мистера Ивнинга к обществу и развлечениям боролась с его страстью к осмотрам. В то же время миссис Оуэнс, находясь под надзором опечаленной, измученной Перл, ощущала, что часы и дни стремительно приближают ее к свиданию, и она уже сама не понимала, как могла когда-то договориться и мечтать о нем. В

ее жизни еще ни разу не было такой тревожной недели, и она даже ссадила кожу на белых пальцах, обычно неподвижно лежавших на атласных подушках, яростно сдергивая и снова нанизывая кольца.

Наконец наступил четверг, и в полдевятого вечера миссис Оуэнс сидела с бокалом вина (единственная роскошь, которую она себе позволяла), едва пригубливая по чайной ложке. Часы пробили полдесятого, затем десять, но мистера Ивнинга все не было. Ее губы, едва тронутые оригинальной помадой, скривились в горькой усмешке смирения. Миссис Оуэнс встала, решительно прошагала к шкафчику из черного дерева и достала оттуда флакончик с нюхательной солью, к которому не прикасалась уже много месяцев. Открыв его, она обнаружила, что запах почти выветрился, но она взяла флакончик с собой и, вернувшись в кресло, время от времени вдыхала разреженные пары.

Она уже оставила всякую надежду, безжалостно постучав несколько раз по шелку и мохеру своего кресла, как вдруг, примерно в четверть двенадцатого, случилось чудо: в тяжелом черном деревенском пальто перед нею предстал мистер Ивнинг, введенный на редкость оживленным Джайлзом. Миссис Оуэнс, не столько оскорбленная его опозданием, сколько не верящая своим глазам, еле заметно кивнула. Отказавшись от ужина, она раскрыла большую книгу с золотым обрезом и гравюрами Флаксмана[1], принялась увлеченно их рассматривать, а сидевшая за собственным столиком в дальней части комнаты Перл поужинала нежными ломтиками рыбы, вымоченной в соусе, окуная в него булочку.

---

1 Джон Флаксман (1755—1826) – английский скульптор и рисовальщик. – *Прим. перев.*

Игнорируемый обеими дамами мистер Ивнинг сел. Судя по внешнему виду, спиртного он не пил, но его щеки раскраснелись, словно свекла, от мороза, и выглядел он, как с беспокойством отметила миссис Оуэнс, привлекательнее и моложе, чем в первый раз.

– Терпеть не могу снег, – миссис Оуэнс рассматривала отвороты его брюк, засыпанные хлопьями. – Но если ехать куда-то на юг, – было неясно, к кому она обращается, – потребуются слишком долгие приготовления, и все это лишь для того, чтобы избежать зимней сырости… Конечно, раньше я чувствовала себя в дороге, как дома, – продолжала она, положив руки на тяжелый нож для бумаги с пожелтевшей рукояткой из слоновой кости и непривычно широким лезвием. – В прежние времена тебя удобно усаживали, а не запускали в воздух, как электронную частицу. Ты носила *одежду*, появлялась на обедах, которые служили только поводом, беседовала, *слушала* или просто сидела, отвернувшись. Когда ты вставала, за тобой ухаживали, тебя, если хотите, оберегали, и *в пути* ты чувствовала себя даже комфортнее, чем дома или в месте назначения.

Миссис Оуэнс умолкла, оскорбленная зевком мистера Ивнинга. Охваченная дрожью и немотой миссис Оуэнс сдержалась, лишь вспомнив *о соглашении*.

Появился дворецкий в зеленых защитных очках и после едва заметного кивка миссис Оуэнс приподнял крошечный столик с инкрустированной золотом мраморной столешницей, вслед за чем поставил его на удобном расстоянии от мистера Ивнинга. Позже другой слуга принес из кухни что-то дымящееся в серебряных сосудах.

– В отличие от нынешней вороньей стаи, – го-

лос миссис Оуэнс словно воспарил над рампой, – я помню *все* свои путешествия, – она с привередливой поспешностью листала Флаксмана. – В моем случае это весь земной шар, когда он был еще труднодоступным и о нем редко писали или высказывались какие-нибудь купцы да переписчики. – Миссис Оуэнс на минутку умолкла, возможно, вспомнив о своем возрасте и дальних краях. – Я не пропустила ни одной страны, включая те, что не рекомендуются или не вносятся в буклеты гидами и гостиничными экономами. Теперь нет смысла уезжать и даже выходить через парадную дверь – ведь любая точка на карте уже стерта в порошок чьей-нибудь грузной ножищей. Когда все кругом *en route*[1], лучше оставаться дома!.. Перл, дорогая, смотри в тарелку!

Доев рыбу, Перл с близорукой неуверенностью коснулась блестящим ножом льняной скатерти.

– Ради всего святого, надень очки, дорогое дитя, а не то проткнешь себя!

Мистер Ивнинг закрыл глаза. Ему хотелось произвести впечатление человека, не прикасающегося в чужом доме к еде. Впрочем, фарфор на его столике был сногсшибателен, хоть и новехонек, а, стало быть, *не ахти*. Однако, по здравом размышлении, мистер Ивнинг все же приподнял одну чашку, а затем бесшумно поставил ее на место. Дворецкий тотчас налил ему кофе. Вопреки собственной воле мистер Ивнинг выпил столовую ложечку, ведь после сырости и холода хотелось чего-нибудь горячего. Но это оказалась несусветная бурда – хмельная, прозрачная и холодная. Миссис Оуэнс тотчас отметила удовольствие на его лице, и по ее телу побежали мурашки. Она по-

1 В дороге *(фр.)*.

думала, что, возможно, его пленит ее всегда несравненный стол, пусть даже он не оценил прочих ее сегодняшних жертв.

– Когда путешествия стали для меня недоступны, – продолжала миссис Оуэнс, словно записывая на диктофон мемуары, – меня не удалось прельстить и церкви. Даже в ту пору (казалось, она говорит о начале восемнадцатого столетия) они брали к себе ораторов всех мастей. Вместо единения и отдыха церковь стала предлагать мысли и проблемы… Потому она ушла из моей жизни вместе с поездками за границу… Зрение у меня не столь плохое, как у Перл, которая ничего не видит без очков, но чтение все больше меня утомляет, хоть я и постигаю естественный порядок вещей, возможно, лучше, чем когда-либо. К тому же я читала больше других, ибо у меня всегда была масса свободного времени. В итоге я перечитала все на свете, а каждого настоящего писателя – даже по несколько раз.

Мистер Ивнинг попробовал кусочек тортабезе с мороженым и пришел в восторг. Вряд ли его умышленно начали кормить в обратном порядке: просто он был весь в снегу, и потому дворецкий подал вначале кофе, подразумевающий не основное блюдо, а десерт.

Заметив, что мистер Ивнинг не прикасается к вину, миссис Оуэнс минуту подумала, а затем продолжила:

– Спиртное тоже никогда меня не утешало. Хотя, наверное, жизнь могла бы стать более сносной, особенно в эту эпоху, – она взглянула на бокал, опорожненный всего на пару глотков. – Поэтому я почти не нуждалась в алкоголе, перебирая в памяти вещи, которые исключила из своей жизни… – взглянув вверх, она изрекла: – Возможно, это прозвучит странновато, но в действительно-

сти мне осталось лишь человеческое лицо, – и, после минутного раздумья, она искоса посмотрела на мистера Ивнинга, который застыл с безе на поднесенной ко рту вилке. – Можно сказать, мне необходимо человеческое лицо, – говорила она, обращаясь к плотным страницам с рисунками Флаксмана. – Я не могу видеть своих слуг, хотя посторонние называли их привлекательными. (Не могу смотреть на собственные приобретения – я их слишком хорошо помню.) Нет, я говорю о непродажном человеческом лице. Разумеется, – сказала она, устремив невидящий взор в одну точку, – у кого-то оно есть, а у меня есть то, чего этому человеку так сильно хочется. Словом, мы, если даже не пара, то, уж во всяком случае, союзники.

Время текло, хоть и не быстро, но равномерно. Близилось утро. Мистер Ивнинг, открывавший рот лишь затем, чтобы пробовать блюда (которые привлекали его только вкусом, ибо он поужинал), взял салфетку, вытер красивые алые губы, смутившись, что испачкал льняную ткань, и встал. Миссис Оуэнс и ее сестра давно уже клевали носом или просто делали вид, будто дремлют, подле ухоженного камина. Поэтому мистер Ивнинг пожелал их неслышащим ушам спокойной ночи и вышел вон.

В пятый его четверговый визит к миссис Оуэнс произошла перемена, о которой он подозревал, опасался ее с самого начала, но почему-то был не в силах предотвратить.

Миссис Оуэнс с сестрой все больше игнорировали его приходы, и сторонний наблюдатель, не знакомый с соглашением, возможно, решил бы, что его присутствие дамам неприятно или что он слишком ничтожен – бедный родственник, не заслуживающий ни взгляда, ни слова.

Период мнимого безразличия и взаимного непризнания в одночасье завершился, когда Перл неожиданно заявила во весь голос, что яркий свет может испортить двусторонний ковер из крашеной пряжи на третьем этаже.

Не успела миссис Оуэнс уяснить эту новость или принять какие-нибудь меры (если, конечно, она собиралась что-либо предпринять для защиты ковра от света), как со стороны гостя послышался шум, и, повернувшись, миссис Оуэнс увидела, что после упоминания об особом ковре мистер Ивнинг изменился в лице. Оно дышало алчностью, страстным желанием, можно даже сказать – сумасшедшей жаждой наживы. Облик его и впрямь приковывал внимание своей красноречивостью, и, нарушив собственный этикет, миссис Оуэнс неожиданно спросила:

– Что с вами, сэр?

Но прежде чем эти слова слетели с ее губ, мистер Ивнинг, не дожидаясь разрешения, подошел к ее креслу.

– Вы сказали «двусторонний ковер из крашеной пряжи»? – очень резко спросил он.

Миссис Оуэнс, крайне изумленная его тоном и перемещением, ничего не ответила и вдруг услышала повелительный голос мистера Ивнинга:

– Покажите его сейчас же!

– Если только вы не лишились рассудка, мистер Ивнинг, – начала миссис Оуэнс и, достав из-под складок красного кашемирового платья огромную золотую цепь, сжала ее в руках, – будьте так любезны (я могла бы даже сказать «так вежливы») – вспомните хотя бы о нашем соглашении, раз уж вы забыли, кто я такая и что вы в гостях.

Затем она воскликнула – очень быстро, уничтожающе-гневным тоном и так громко, чтобы услышали на проходящем мимо пароходе:

– Вам не хватило терпения, и вы испортили всем удовольствие!

Стоя перед ней с разинутым ртом, ненадолго приведенный в чувство пощечиной, он лишь невнятно что-то пробормотал.

Встревоженная собственной вспышкой миссис Оуэнс поспешно добавила:

– Он еще не готов к показу, мой дорогой, мой особенный друг.

Тут миссис Оуэнс взяла его за руки и нежно их поцеловала.

Упав на колени, не отпуская ее холодных ладоней и глядя на морщинистые нарумяненные щеки, он взмолился:

– Одним глазком!

Она высвободила руки и дотронулась до его лба.

– И речи нет, – казалось, теперь она просто кокетничает, и голос ее стал выше на октаву. – Но этот день настанет, – она махнула, чтобы он снова сел, – быть может, когда меньше всего ждешь. У вас осталась только надежда, дорогой мистер Ивнинг.

Повинуясь ей, он снова сел, и эта унылая покорность вкупе со страхом успокоили миссис Оуэнс, придали ей сил, так что она нерешительно улыбнулась.

– Понимаете, право видеть ковер имеют лишь те, кто здесь живет, – она уже почти извинялась за свою тираду и, без сомнения, утешала его.

Он понурил голову.

Потом завыл северо-восточный ветер, и большая ставня на фасаде застучала, словно в агонии. Вскоре повалил твердый, точно град, снег.

Задев мистера Ивнинга за живое, миссис Оуэнс следила за его нарастающим оцепенением. Подождав, не пройдет ли оно, и заметив, что, как и предполагалось, оно не прошло, позвонила ночной прислуге, отдала беглые распоряжения, а затем села и стала рассматривать гостя, пока служанка не вернулась с крохотным графинчиком, изящной рюмкой величиной с осколок и не поставила их перед мистером Ивнингом, который слегка погладил рукой оба сосуда.

– Увы, мистер Ивнинг, совсем новые, – сказала миссис Оуэнс.

Он очнулся, лишь когда кто-то положил ему на колени небольшой плед, и понял, что ночь сменилась предрассветными сумерками: стало быть, он проспал все это время в кресле, подкрепившись несколькими глотками старинного, в отличие от рюмки, бренди.

Наутро он обнаружил, что не может встать. Новый слуга с угольно-черными бачками и пепельными щеками провел его в ванную, помог обмыться, а затем крепко держал под мышки, пока он мочился – преимущественно кровью. Мистер Ивнинг уставился в унитаз, хоть и разглядывал малиновую лужицу без особого интереса или тревоги.

Затем он вернулся в кресло: снег по-прежнему стучал в ставни, а восточный ветер ревел, как отчаянная толпа умалишенных, оставшихся без успокоительного.

Хотя мистер Ивнинг не сомневался, что миссис Оуэнс изредка шагала по смежной комнате (кто бы не узнал этой поступи – столь же властной и уверенной, как и зычный голос?), в тот день она не входила взглянуть на него или о чем-нибудь спросить. Временами он с острой мукой слышал, как сдвигали и, видимо, ставили на солому посуду.

Пару раз ему померещилось, будто миссис Оуэнс хлопнула в ладоши – столь явный анахронизм, что мистер Ивнинг вдруг судорожно захихикал. Он также услышал говорящего попугая, почти тотчас уловил шум уносимой клетки и птичьи крики, которые, постепенно удаляясь, растворились в полнейшей тишине.

Немного спустя ему подали такое пикантное блюдо, столь обильно приправленное травами и пряностями, что это окончательно отбило у него аппетит: попробовав кусочек, он даже не понял, что съел.

Затем появился Джайлз с тазиком из чистого серебра, вербеновым мылом и (невероятно!) его собственной бритвой, словно глядевшей снизу вверх, на блестящем подносе: в мужском мире мистер Ивнинг овладел лишь умением красиво бриться, чему научился у капитана в военном училище.

– Как здесь оказались мои личные вещи, Джайлз? – спросил он, не сильно интересуясь ответом.

– В таких случаях нам приходится приносить все, – пояснил Джайлз глухим голосом члена церковного совета.

Затем мистер Ивнинг снова откинулся на спинку и почувствовал, как слуга подоткнул одеяло под тапочки и бедра.

– По мнению миссис Оуэнс, снег действует на вас так потому, что кровь у вас жиже, чем у нас, северян, – попытался объяснить состояние молодого человека Джайлз.

Вдруг, прямо у себя над головой, мистер Ивнинг услышал, как плотники громко пилили и стучали молотками, будто они работали в этой же комнате. Он беспокойно засучил ногами в чулках.

В зале, расположенном напротив его кресла, но отделенном тяжелой перегородкой, миссис Оуэнс и двое джентльменов со смутно знакомыми голосами производили вслух опись имущества.

«Наверное, готовятся к аукциону», – решил мистер Ивнинг. Теперь он с зарождающейся тревогой и в то же время слабым восторгом слышал названия всех редкостных реликвий, выставляемых на продажу. Наименования этих роскошных предметов громко выкрикивал, сверял и равнодушно перечислял аукционист, вся процедура проводилась им с такой яростью и презрением в голосе, что казалось, бесценные, редчайшие сокровища, достойные найти окончательное пристанище в Лувре, переписываются здесь лишь для того, чтобы затем их вынесли в ящиках и швырнули в костер. В какой-то момент мистер Ивнинг взвизгнул:

– Прекратите!

Перегородка отодвинулась, и метрах в трех он увидел уставившуюся на него миссис Оуэнс. Затем со взглядом, выражавшим то ли абсолютное неузнавание, то ли желчное недовольство, она быстро закрыла раздвижную панель, и опись продолжилась – еще громче прежнего, а голос выкрикивающего стал скрипучим и сердитым.

Очнувшись после долгого сна, мистер Ивнинг увидел, как вошли двое незнакомцев в комбинезонах, с блестящей золотистой лентой. Они наклонялись, ворча и жалуясь, дотошно, хотя и украдкой, измеряли его с ног до головы: его сидячая поза, очевидно, вынуждала по несколько раз проверять результаты.

Был ли то вечер пятницы, или уже прошли выходные, и наступил понедельник?

Снегопад вроде бы не переставал, но ветер ослабел или же дул порывами, а ставни почти

затихли. Мистер Ивнинг подозревал, что за это время на квартиру к нему заходили самые разные люди. Он провел в кресле еще несколько смутных часов, затем вновь появился Джайлз и помог ему добраться до туалета, где из мистера Ивнинга вышли плотные сгустки крови, а по возвращении в кресло рядом с ним неожиданно оказались его личный пароходный кофр и пара чемоданов.

Отвернувшись от необычного багажа, Джайлз причесал и подстриг его длинные каштановые волосы, подправил мохнатые брови и помассировал затылок. Мистер Ивнинг не спросил, чем вызвано такое внимание к его прическе, но все же поинтересовался, стремясь, скорее, нарушить траурное молчание, нежели получить вразумительный ответ:

– Зачем там наверху плотничали, Джайлз?

Слуга помедлил, запнулся и в смущении чуть не прищемил мистеру Ивнингу парикмахерскими ножницами ухо, но под конец громким шепотом ответил:

– Переделывали кровать.

Комната, в которой он просидел все эти дни (сколько: четыре, шесть, быть может, две недели?), комната, принадлежавшая миссис Оуэнс и ее сестре во время его первых четверговых визитов, теперь находилась в полном его распоряжении, а обе женщины перебрались в другие квартиры этого дома, где помещения, равно как и реликвии, было трудно, почти невозможно сосчитать.

Пребывая в какой-то бессловесной апатии (мистер Ивнинг решил, что тяжело болен, хоть и не задумался над тем, почему не приходит врач) и проведя несколько часов в одиночестве, он, внезапно расстроившись, что о нем забыли, воспользовался странным обычаем миссис Оуэнс и власт-

но хлопнул в ладоши. Появился смуглый юноша с большими синяками на висках, ни о чем не спрашивая и не здороваясь, поправил ступни мистера Ивнинга на табурете, налил ему чего-то красного с горьким привкусом и, дожидаясь, пока больной выпьет, жестом осведомился, не желает ли мистер Ивнинг облегчиться.

Новые смутные часы понемногу сменились туманным забытьем. Наконец, стук молотков, глухие удары и шум сдвигаемой мебели, а также удушливые испарения скипидара и краски вовсе перестали ему докучать.

Невероятно: миссис Оуэнс появилась вновь в сопровождении Перл.

– Нечего и говорить, как я рада, что вам лучше, мистер Ивнинг, – очень холодно начала миссис Оуэнс, и сразу было заметно, что выглядит она на пару лет моложе: то ли ее приукрашивал лившийся теперь в окна яркий солнечный свет, то ли (гадал мистер Ивнинг) она прибегла за время его болезни к пластической хирургии – во всяком случае, миссис Оуэнс сильно помолодела, а голос стал грубее, резче и еще театральнее, чем прежде. – В связи с вашим чудесным выздоровлением мы готовы переселить вас в вашу комнату, – продолжала миссис Оуэнс, – и я рада сообщить, что там вы сможете полюбоваться несколькими двусторонними коврами из крашеной пряжи, развернутыми специально для вас… Кровать… – добавила она после осторожной паузы, – надеюсь, вы ее одобрите, – тут он попытался что-то возразить, но она показала, что не допустит этого, – ведь ее переделка всем нам стоила немалых трудов, – ему показалось, что она хотела употребить слово *реликвия*, но удержалась и лишь сказала в заключение: – Вы же понимаете: рост у вас более шести

футов шести дюймов в носках! – она пристально его изучала: – Не могли же мы допустить, чтобы ваши ноги свисали из-под одеяла… – Итак, сэр, – миссис Оуэнс сложила руки на груди, – как вы считаете, под силу ли вам подняться на следующий этаж, разумеется, с нашей помощью?

В следующую минуту двое слуг помогли ему взобраться по нескончаемой винтовой лестнице. Миссис Оуэнс и Перл замыкали шествие, первая болтала без умолку:

– Разумеется, наша северная кровь, мистер Ивнинг, с самого рождения привыкает к жутким снежным дням, к ледяным порывам Борея и к восходящему зимними ночами Ориону, но нашим друзьям с Юга следует быть осторожнее. Вот почему мы так о вас заботимся. В любом случае, вы должны были прийти сразу, а не заглядывать только по четвергам, – брюзгливо закончила она.

Слуги уложили мистера Ивнинга на широкий волосяной диван, стоявший напротив самой длинной кровати, какую он когда-либо видел, включая музейные редкости. Нужно признать, что мистер Ивнинг с ранней юности ни разу не спал на кровати, соответствовавшей его росту и комплекции, ведь, даже получив наследство, он продолжал жить в пансионе, где не было ничего соразмерного его габаритам. В доме же миссис Оуэнс он не выбирал себе образ жизни, однако кровать идеально подходила для его телосложения.

Вокруг волосяного дивана расставили крошечную ширму, и пока миссис Оуэнс и Перл ждали начала представления, Коул (как позже выяснилось, норвежец) снял с мистера Ивнинга старую деловую одежду и облачил его в блестящую зеленую шелковую пижаму. Слуга молниеносно перенес инвалида на кровать, подпер его тело кучей

валиков и подушек, так что теперь, в отличие от дней и ночей, проведенных в большом кресле на нижнем этаже, мистер Ивнинг действительно выглядел сидящим.

Хотя еду принесли для всех сидевших в разных местах огромной комнаты, то есть для Перл, миссис Оуэнс и мистера Ивнинга, отведала ее лишь Перл. Утопавший в подушках мистер Ивнинг уставился в одну точку и, во всяком случае, не смотрел на еду. Миссис Оуэнс, не обращая внимания на собственное блюдо (какую-то жареную дичь), достала из складок маркизетового платья усыпанный драгоценностями лорнет и принялась громко, монотонно зачитывать список редких антикварных вещиц, умышленно начав с неких часов из позолоченной бронзы, что заставило мистера Ивнинга воскликнуть:

– Будьте добры, не читайте больше, пока я обедаю! – хоть он и не съел ни кусочка.

Миссис Оуэнс положила бумагу, обмахнулась ею, точно веером, и, спрятав лорнет, подошла к стеганому покрывалу на кровати.

Миссис Оуэнс склонилась над мистером Ивнингом, точно врач, и он закрыл глаза. Исходивший от ее груди аромат воскрешал в памяти благоухание приморских садов.

– Вся наша совместная жизнь, – начала она, будто во сне, – несомненно, должна была свестись к перечислению предметов имущества. Во всяком случае, так я себе представляла… Я думала, вы проявите внимательность… Я достала эти специальные очки, – она легко коснулась лорнета, – и рассчитывала, что буду читать вам, раз уж больше не читаю себе самой. Признаться, я надеялась, что, поднимая изредка глаза от бумаги, смогу отдохнуть, задержав взгляд на ваших прекрасных

чертах… Если вы намерены лишить меня этого удовольствия, дорогой мистер Ивнинг, так и скажите, мы примем новые меры и займемся новыми приготовлениями, – тут она оперлась рукой на кровать, словно проверяя ее на прочность. – Не думаю, что даже столь плохой наблюдатель и безразличный гость, как вы, мог не заметить колоссального оживления, суеты и подготовки – подлинной метаморфозы, вызванной вашим прибытием. Помните мои слова: я готова сделать для вас еще больше, но если мне суждено лишиться простой и, можно сказать, единственной отрады – чтения списка бесценных реликвий, при котором я время от времени могла бы задерживать на вас взгляд, так и скажите, но тогда прошу извинить меня и позволить мне уйти из собственного дома.

В этот наиболее драматический момент своей жизни никогда не отличавшийся ораторскими способностями мистер Ивнинг сумел лишь схватить гибкую, украшенную драгоценностями кисть миссис Оуэнс шершавой потрескавшейся рукой и, прижав ее палец к своему лицу, вскрикнуть:

– Нет!

– Что – *нет*? – отдернув ладонь, спросила она, но вместе с тем едва заметно улыбнулась от удовольствия.

Приподнявшись над горой подушек, он с трудом вымолвил:

– А как же мои дела *там*? – и наобум показал в ту сторону, где, по его представлениям, находилась его контора.

Миссис Оуэнс покачала головой:

– Чем бы вы там ни занимались, мистер Ивнинг, – она посмотрела на него с презрением, – лучше заменить «там» на «здесь», сэр. Так вот, сейчас у вас гораздо больше дел, чем когда-либо в

каком-то другом месте… Это ваш дом! – воскликнула она и, выйдя из себя, добавила: – Ваша работа – здесь, и только здесь!

– Неужели я так серьезно болен? – обратился он к продолжавшей ужинать Перл.

Перл повернулась за распоряжениями к сестре.

– Не знаю, как можно быть столь эгоцентричным и называть незначительное расстройство мочеиспускания болезнью, – миссис Оуэнс повысила голос, – особенно после того, как мы подготовили этот список, – она постучала лорнетом по описи антиквариата, – нельзя же быть таким тупицей, чтобы не понимать: в один прекрасный день все это станет вашим!

Миссис Оуэнс встала и вперила в него взор.

Взгляд мистера Ивнинга упал капельным шариком на пол, где, словно одушевленные существа, лежали дотоле им не замеченные недоступные двусторонние ковры из крашеной пряжи. Он беззастенчиво расплакался, миссис Оуэнс сдержала ухмылку.

Он медленно вытер глаза поданной ею салфеткой.

– Если бы вам хватило приличия хотя бы сделать вид, будто вы пьете кофе, вы рассмотрели бы свою чашку, – сказала она. – Да-да, – вздохнула миссис Оуэнс, изучая сбитого с толку мистера Ивнинга, который вдруг обнаружил у самого кончика своего пальца чашку 1910 года с ручной росписью, не замеченную им раньше, как и двусторонние ковры. – Да-да, – продолжала миссис Оуэнс, – тогда как я, можно сказать, обрела второе зрение, – она ненадолго подняла свой лорнет, – некоторые подслеповаты в буквальном смысле слова… Перл, – она обратилась к сестре, – можешь уйти.

– Мой дорогой мистер Ивнинг, – сказала миссис Оуэнс, чей тон после исчезновения Перл заметно изменился.

Он поставил чашку 1910 года – возможно, потому, что немыслимо пить из такой уникальной, столь хрупкой вещи, способной треснуть от одного прикосновения губ.

– Теперь вы уже не сможете уйти из моей жизни, – миссис Оуэнс неуверенно протянула ему руку.

Он решил, что у нее вставные зубы – слишком уж роскошные для настоящих, но она и вся вдруг стала роскошной, от нее вновь хлынул целый поток диких ароматов: жимолость, жасмин, какие-то безымянные цветы – одни духи сменялись в дурманящей последовательности другими, столь же разнообразными, как ее бесценные реликвии.

– Дорогой мистер Ивнинг, зима способна отзывчиво вознаградить даже южанина, ну а моя кровь, повторюсь, не склонна к разрежению, – тут она откинула одеяло до самых его ступней. Их длина и прекрасное строение голого подъема ног вызвали у нее минутное колебание. – Я убеждена, – заговорила она твердо, сунув ледяную ладонь под верхнюю часть пижамы и оставив на его груди, будто на веки вечные, – что ваше тело радует взор везде.

Мистер Ивнинг на секунду застучал зубами, видя, как стремительно опускается ее голова, но та просто легла ему на грудь. Он подумал, что рискует подхватить страшную простуду, но, услыхав голос миссис Оуэнс, не шелохнулся:

– Когда я уйду, все это станет вашим, и взамен я прошу лишь одного, мистер Ивнинг: чтобы отныне все дни были четвергами.

Он не понял, как это случилось: то ли вошел слуга, то ли все проделали с проворством колибри ее руки, но он лежал, в чем мать родила, на кровати, наконец-то подходившей ему по длине и позволявшей увидеть, что он и впрямь необыкновенно высокий молодой человек.

ЕЧЕРИНКА У ЛИЛИ

Когда Хобарт вошел в дверь «Домашней столовой Кроуфорда», его взгляд сразу упал на Лили, которая сидела одна за большим дальним столом и поглощала кусок торта.

– Лили! Ничего не говори! Ты должна быть в Чикаго! – воскликнул он.

– Кому это я должна? – Лили выронила вилку, и та мгновенно вонзилась в торт.

– Да будь я проклят, если… – промямлил Хобарт, выдвигая стул из-под стола, и без приглашения сел. – Все решили, что ты уехала к Эдварду.

– Эдвард! Да я бы ни за что в жизни к нему не уехала. И, по-моему, ты об этом знаешь! – Лили никогда не проявляла свой гнев открыто, и хотя сейчас она сердилась, это вовсе не мешало ей лакомиться тортом.

– Ну, Лили, тебя же не было, вот мы и подумали, что ты уехала в Чикаго.

– Я отдала твоему брату Эдварду два лучших года своей жизни, – Лили говорила очень сухо, словно давая повторные показания в суде. – И не собираюсь искать его, чтобы еще раз получить то же самое. Возможно, ты и забыл, что́ я от него получила, но я-то помню…

– Но где ты была, Лили?.. Мы все обыскались! – Хобарт упрямо гнул свое.

– К твоему сведению, Хобарт, все это время я была здесь, – при этом она слегка рассеянно изучала его рот. – Но что касается твоего братца Эдварда Старра, – продолжила Лили и замолчала, по-прежнему рассматривая его рот, словно обнаружила там какой-то изъян, дотоле ускользавший от внимания. – Что же касается Эдварда, – повторила она, а затем остановилась и осторожно стукнула вилкой по тарелке, – могу тебе признаться, что он – самая жалкая пародия на мужа. Если помнишь, он ушел от меня к другой, и по его недосмотру умер мой малютка… Потому я не желаю оглядываться на Эдварда и не собираюсь ворошить былое ни в каком Чикаго…

Она перестала рассматривать рот Хобарта и выглянула в широкое окно, в котором уже начала свой вечерний восход полная октябрьская луна.

– Признаюсь, поначалу мне было одиноко: мой малютка лежал в могиле, и я скучала даже по такой пародии на мужчину, как Эдвард Старр, но, поверь, вскоре это прошло.

Доев торт, она положила вилку, оставила немного мелочи на голом белом ясеневом столе, а потом, закрыв кошелек, вздохнула и тихо встала.

– Знаю лишь, – добавила Лили, теребя застежку на кошельке, – что теперь я обрела покой… Как тебе, возможно, известно, преподобный отец Макгилеад указал мне путь к свету…

– Об отце Макгилеаде слышал, – сказал Хобарт столь резко, что она уставилась на его, пока он придерживал для нее дверь-ширму.

– Уверена, ты слышал только хорошее, – парировала она, пусть не рассерженно, но все же неуравновешенно.

– Я проведу тебя домой, Лили.

– Не стоит, Хобарт… Спасибо, и до свиданья.

Он заметил, что она не красит губы и не носит обручального кольца. Лили выглядела моложе, чем в бытность женой Эдварда Старра.

– Ты говоришь, что обрела с этим новым проповедником покой, – сказал Хобарт вдогонку ее удаляющейся фигуре. – Но, вопреки этому душевному покою, ты ненавидишь Эдварда, – настаивал он. – Все, что ты говорила мне сегодня, пропитано ненавистью.

Она ненадолго обернулась и на сей раз посмотрела ему в глаза:

– Я найду свою дорогу, уверяю. Наперекор тебе и твоему братцу.

Он стоял перед дверью столовой и смотрел, как она спускалась по залитой лунным светом тропинке к своему дому в лесной чаще. Его сердце бешено стучало. Хобарта окружали поля, хлеба и высокие деревья. После того как он свернул за угол, единственным природным светилом осталась плывущая королева небес. На узкой тропинке не было ни одной живой души, не считая влюбленных, изредка выбиравших ее для свиданий.

«Как ни крути, Лили – загадочная женщина», – вынужден был он признаться самому себе. Откуда же тогда взялся слух, будто она уехала в Чикаго? Тут Хобарту показалось, что она солгала и все-таки была в Чикаго, но только что вернулась.

Затем, вовсе не собираясь этого делать и едва ли отдавая себе отчет в своих действиях, Хобарт отправился вслед за ней на довольно большом расстоянии по залитой лунным светом дорожке. Через пару минут преследования он заметил, что кто-то сошел с распаханного поля. То был высокий, еще моложавый мужчина с выправкой, скорее, атлета, нежели фермера. Он помчался навстречу Лили. Затем оба на минуту остановились

и, после того как незнакомец нежно потрогал ее за плечо, зашагали вместе. У Хобарта сильно забилось сердце, застучало в висках, губы покрылись налетом, а рот наполнился слюной. Он не стал идти за ними прямо по дороге, а прокрался в поле и преследовал сбоку. Иногда эти двое останавливались, и казалось, будто незнакомец уже готов покинуть Лили, но затем, сказав что-то друг другу, они продолжали путь вдвоем. Хобарту хотелось подкрасться ближе и подслушать, о чем они говорят, но он боялся разоблачения. Во всяком случае, он удостоверился в одном: рядом с Лили шагал не Эдвард, а также убедился, что, кем бы ни был мужчина, это ее любовник. Только любовники могли так идти – то чересчур отдаляясь друг от друга, то слишком тесно прижимаясь: дыхание их казалось неровным, а тела тяжело покачивались. Хобарт понимал, что скоро они займутся сексом, и потому двигался нетвердой походкой, почти спотыкаясь. Он лишь надеялся, что сумеет обуздать свои чувства и ничем себя не выдаст. Наконец, заметив, что они свернули к ее коттеджу, Хобарт попытался найти в себе силы возвратиться домой и забыть Лили, забыть своего брата Эдварда, которого она, несомненно, обманывала на протяжении всего замужества (даже у *него* однажды случилась близость с Лили, пока Эдвард был в отлучке, поэтому Хобарт вечно гадал, не он ли отец ребенка, рожденного ею в браке, но, как только мальчик умер, перестал об этом думать).

Коттедж Лили пользовался определенной известностью. В округе не было других домов, а окна ее гостиной выходили на густой лес. Здесь она могла заниматься чем угодно, и никто бы ни о чем не узнал, если только не встать перед огромным окном почти во всю ширину ее комнаты: впро-

чем, заглядывать внутрь мешала листва, а порою и плотный туман.

Хобарт понимал, что этот человек, кем бы он ни был, пришел сегодня не для того, чтобы учить ее Христовой любви, а дабы предаться любовной страсти. Хобарт слышал о молодом проповеднике – преподобном отце Макгилеаде; ему рассказывали о его особых молебнах, намекая, что священнослужитель полон нерастраченной энергии. Люди говорили, что он слишком громко кричит на проповедях, а вены у него на шее надуваются от напора пульсирующей крови.

Хобарт занял наблюдательный пост под прикрытием большого хвойного дерева и вовсе не удивился, когда мужчина, которого он считал молодым проповедником, обнял Лили.

Но затем случилось непредвиденное, почти невообразимое: с ловкостью профессионального гимнаста проповедник вмиг сбросил с себя одежду и встал в чем мать родила посреди ярко освещенной комнаты. Сама Лили оцепенела, точно мышь при внезапном появлении змеи. Она смотрела невидящим взглядом и даже не пыталась помочь мужчине, пока он ее раздевал. Но, судя по тому, как непринужденно он себя вел, они наверняка совершали это и раньше. «М-да, – признался себе Хобарт в безопасной древесной тени, – обычно любовники делают это постепенно». Он рассчитывал, что молодой проповедник поговорит с ней хотя бы четверть часа, затем возьмет за руку, потом, возможно, поцелует и, наконец (ах, как медленно и возбуждающе, по крайней мере, для Хобарта!), разденет и привлечет к себе.

Однако это гимнастическое выступление привело наблюдателя под хвойным деревом в полное замешательство.

Во-первых, огромные размеры полового органа проповедника, вздувшиеся на нем вены и непривычная воспаленная краснота напомнили Хобарту сцены, виденные при работе на ферме. Он также вспомнил хирургическую операцию, совершенную по необходимости в маленьком и тесном кабинете врача. Тут проповедник толкнул Лили к стене, решительно набросился и проник в нее. Глаза у мужчины завращались, словно его затягивал какой-то всасывающий аппарат, а изо рта внезапно полилась невероятно обильная слюна, и он стал похож на человека, надувающего огромный воздушный шар. Его шея судорожно выгнулась, а соски напряглись, точно их подвергали ужасным пыткам.

В эту минуту Хобарт, не осознавая своих действий, вышел из укрытия, шагнул к окну и замахал руками, словно останавливал грузовик. (Позже Лили признавалась, что и впрямь решила, будто кто-то с двумя белыми флажками в руках зовет на помощь.)

Пронзительный крик разоблаченной Лили разбудил округу, и по соседству залаяло множество сторожевых псов, точно поднятых по тревоге.

– За нами подглядывают! – наконец вымолвила она и трижды какофонически вскрикнула. Но стоявший спиной к окну проповедник, казалось, страдавший тяжелым физическим недугом, полностью сосредоточился на своих телесных потребностях и, хотя Лили пыталась вырваться, лишь плотнее к ней прижимался. Тогда ее вопли усилились и, наконец, сравнялись по громкости с лаем сторожевых псов.

Даже Хобарт, очевидно, столь же дезориентированный, как и парочка, негромко закричал, продолжая тщетно размахивать руками.

– Нет, нет и нет! – Лили все же удалось подобрать и выдавить из себя эти слова. – Кто бы вы ни были, уходите сейчас же!

Теперь Хобарт подошел прямо к окну. Перестав махать, он прижался носом и ртом к стеклу.

– Это я, – попробовал он успокоить. – Хобарт, брат Эдварда Старра! Ты разве не видишь? – он совершенно не понимал, что дальше делать или говорить, но рассудил так: напугав и испортив им удовольствие, он должен теперь назваться и объяснить, что не собирался причинить им вреда. Однако его обращение еще больше испугало Лили, а ее молодой партнер забарахтался, как будто тонул на глубине.

– Это Хобарт Старр! – воззвал к ним соглядатай, подумав, что его, видимо, приняли за взломщика.

– Боже милостивый, – вздохнула Лили. – Если это ты, Хобарт Старр, пожалуйста, уходи. Имей хоть каплю приличия… – тяжело дыша, она попыталась закончить фразу.

Но в ту же минуту проповедник разорвал верхнюю часть платья Лили: ее груди и соски глянули на Хобарта встревоженными детскими личиками.

– Я войду в дом объясниться! – прокричал Хобарт снаружи.

– Ты не посмеешь! Нет, нет, Хобарт! – заорала в ответ Лили, но незваный гость отпрянул от окна, споткнулся о какие-то низкие кустики и вскоре вошел в гостиную, где проповедник уже громко сопел, изредка даже взвизгивая.

– Что на тебя нашло? – заговорила Лили, как вдруг проповедник припал ртом к ее губам и сдавленно завопил, причем из живота у него доносилось похожее на барабанную дробь урчание.

Хобарт уселся рядом со стоявшей парочкой.

Проповедник наконец-то отвалился от Лили, рухнул на пол рядом с сидящим Хобартом, что-то

выкрикнул и захныкал. Лили по-прежнему стояла, прижавшись спиной и ягодицами к стене, и тяжело дышала, точнее, судорожно глотала воздух. Прервав свои странноватые всхлипы, ее партнер встал, оделся и, нетвердо держась на ногах, вышел в кухню. Со своего стула Хобарт высмотрел на длинном кухонном столе (такие обычно ставят в просторных школьных кафе) не меньше пятнадцати различных выпечек, которые Лили приготовила специально для завтрашнего церковного собрания.

Хобарт заметил, как проповедник сел за большой стол и отрезал кусок голландского яблочного торта. Чавканье, в конце концов, привлекло внимание Лили, и она поспешила на кухню, пытаясь остановить священника.

– Если я съем кусочек, церковный пикник не обеднеет. Возвращайся в комнату и развлекай своего нового ухажера, – огрызнулся проповедник, когда она хотела отобрать у него кусок.

– Должна тебе сказать, умник, что это не мой ухажер, а брат Эдварда Старра!

Пастор продолжал жевать.

– Этот торт, – сказал он, сдержанно облизнувшись, – ты пересластила.

– Вы только послушайте его! – пробормотала Лили и помчалась обратно в гостиную. Там она застыла, широко раскрыв глаза и беззвучно шевеля губами: перед ней стоял совершенно голый Хобарт, аккуратно складывавший свои трусы.

– Ты не посмеешь! – наконец воскликнула Лили.

– Кто это сказал? – огрызнулся Хобарт.

– Хобарт Старр, ты сейчас же пойдешь домой, – приказала ему Лили. – Потом я все объясню.

Вместо ответа он метнулся к ней и крепко прижал к стенке. Она попыталась схватить его всей пятерней за член, но Хобарт, вероятно, это предвидел и поймал ее руку, после чего влепил пощечину. Потом он быстро вставил в Лили орган и обслюнявил все ее лицо. Она машинально вскрикнула (скорее, от воображаемой, нежели от реальной боли), словно под рукой неопытного интерна.

По знаку Лили Хобарт вскоре перенес ее через всю комнату, чтобы она могла видеть, чем занимается проповедник.

Тот доел голландский яблочный торт и приступил к ревенному пирогу с решеткой.

– Тебе нравится за ним наблюдать, или вернемся к стенке? – спросил Хобарт.

– Хобарт, умоляю, – запричитала она. – Отпусти, ну пожалуйста.

Тогда он вонзился еще глубже и, судя по ее гримасе, все-таки причинил боль.

– Ты ведь помнишь, Лили, я долго не могу кончить. Да, я медлителен, но забочусь о тебе больше других. Сегодня на меня свалилось великое счастье. Понимаешь, назло всем остальным, ты была суждена мне… Как ты податлива, Лили!

После этих слов она начала извиваться, пытаясь вырваться, но он крепко ее поцеловал и снова загнал свое орудие.

– Это чертовски несправедливо! – казалось, Лили не произносит, а выхаркивает слова. – Ральф, – крикнула она в сторону кухни, – иди сюда и наведи порядок…

Во время оргазма Хобарт так громко вскрикнул, что пастор вышел из кухни. Он с большим трудом проглотил кусок, напомнив Хобарту участника соревнования по поеданию тортов, и осуждающе взглянул на совокупляющуюся парочку.

Пару минут спустя, покончив с Лили, Хобарт начал одеваться, судорожно зевая и качая головой, тогда как Ральф вновь принялся упрямо и методично снимать с себя одежду, словно запасной или дополнительный игрок в каком-то изнурительном состязании.

– Хватит, нет! Я сказала: нет! – заорала Лили, видя, как на нее надвигается голый Ральф. – Я больше не хочу в этом участвовать.

Но он уже схватил ее в охапку и прижал к стенке еще плотнее, чем в прошлый раз.

Тем временем Хобарт стоял, пошатываясь, на пороге кухни. Он тотчас заметил, что проповедник съел целых два торта.

Внезапно Хобарт проголодался, но вместе с тем его тошнило: разрываясь между этими позывами, он вертелся вокруг кухонного стола, как заводной. Наконец уселся перед шоколадным тортом-безе и очень медленно, манерно отрезал маленький кусочек.

Лакомясь тортом, он подумал, что, несмотря на свой мнимый пыл, так и не получил удовольствия от совокупления с Лили. Почему-то оно потребовало напряженных усилий, и хотя он, казалось бы, сделал все, как следует, чувства высшего облегчения не испытал. Теперь он уже не удивлялся, почему Эдвард Старр ее бросил: удовлетворить мужчину Лили неспособна.

Съев почти половину шоколадного безе, Хобарт предположил, что парочка уже достигла оргазма: послышалось хриплое сопение, а затем, как и прежде, донесся воинственный клич проповедника, полный облегчения. Лили тоже закричала, словно взывая к горе за окном: «Я умираю, умираю!» Чуть позже она истерично взмолилась к кому-то или чему-то неведомому: «Ну, не могу же я вот так

отдаться!» Затем, примерно через секунду, Хобарт услышал свое имя и мольбу Лили о спасении.

Хобарт вытер скатертью рот и пошел взглянуть на них. Лили и Ральф плакали, свободно держась друг за друга, а затем оба поскользнулись и упали на пол, не прерывая соития.

– Черт возьми, ну вас к лешему! – с отвращением сказал Хобарт.

Он отвернулся. В самом конце стола красовался весьма аппетитный пирог с темно-коричневой корочкой и золотистым соком, вытекавшим из причудливых, симметрично расположенных отдушин, как в газетной рекламе. Хобарт вонзил в него нож и попробовал крошечный кусочек. У пирога был такой изумительный вкус, что, хотя Хобарта подташнивало, он не удержался и, отрезав себе ломтик, начал торжественно жевать. Пирог был абрикосовый или, возможно, персиковый – Хобарт не как следует не распробовал.

Тут в кухню вошла Лили и закрутилась вокруг огромного стола. Она уже оделась и уложила волосы иначе, они казались теперь подстриженными и причесанными, но несколько выпущенных локонов на затылке ее не красили, пусть и оттеняли белизну шеи.

– Как, ты съел половину выпечки для церковного собрания? – воскликнула она, разумеется, слегка преувеличивая. – И это после моего каторжного труда! Что я скажу, когда придет проповедник?

– Но разве проповедник не здесь? – Хобарт ткнул вилкой в сторону соседней комнаты, намекая на человека по имени Ральф.

– Разумеется, нет, Хобарт… Это не проповедник, неужели ты не способен отличить…

– И почему мне это взбрело в голову? – пробормотал Хобарт, а Лили уселась за стол и заголосила:

– Когда в моей жизни наконец-то появилась четкая цель, – говорила она сквозь всхлипы, – мне довелось встретить именно вас двоих – черствых, эгоистичных, невнимательных сопляков!

Стоя теперь на пороге кухни, по-прежнему голый Ральф рассмеялся.

– Я намерена вызвать шерифа! – пригрозила Лили. – И знаете, что я сделаю завтра утром? Вернусь к Эдварду Старру в Чикаго. Вот. Теперь-то я понимаю, как сильно он меня любит, а я даже не догадывалась.

Мужчины молчали, украдкой переглядываясь, а Лили ревела навзрыд.

– Ах, Лили, – сказал Хобарт, – даже если ты поедешь повидаться с Эдвардом, то снова вернешься домой к нам. Ты же знаешь, что не получишь в Чикаго такой любви, какую мы дарим тебе здесь.

Лили горько плакала, повторяя, что никогда не сможет объяснить прихожанам, почему пожертвовала так мало выпечки для большого собрания.

Утерев слезы носовым платком, который одолжил ей Хобарт, она взяла нож и с неистовым рвением и злобной быстротой отрезала кусок нетронутого торта.

Лили размашисто облизалась, словно подчеркивая, какой он вкусный.

– Уеду в Чикаго и больше никогда не вернусь! – сделав это заявление, она вновь разрыдалась.

«Проповедник» (Хобарт по-прежнему называл его так) подошел к жующей, плачущей Лили и положил ладонь в ложбинку между ее грудями.

– Только не начинай опять, Ральф… Нет! – она вспыхнула. – Нет, нет, нет!

– Хочу еще, – обратился к ней Ральф. – Твои лакомства меня возбудили.

– Эти выпечки и впрямь чертовски хороши для

церкви, – наконец сказала она с капризным, зловещим лукавством, и Ральф догадался по интонации, что она готова ему отдаться.

– Хобарт, – Лили повернулась к брату Эдварда, – почему ты не идешь домой? Мы с Ральфом давно дружим, с самого детства. Я уже уделила тебе внимание. Но люблю я Ральфа.

– Сейчас моя очередь, – запротестовал Хобарт.

– Нет-нет, – Лили вновь заплакала. – Я люблю Ральфа.

– О черт, ну дай ему последний разок, Лили, – уступил «проповедник».

Ральф отошел в сторону и стал вертеть в руках еще не разрезанный пирог.

– Признайся, Лили, кто тебя научил готовить? – сонно спросил он.

– Ральф, я хочу, чтобы ты отправил Хобарта домой. Хочу, чтобы ты был со мной в постели. У стенки – это просто возмутительно! Ральф, сейчас же отправь Хобарта домой.

– А может, дашь парню еще разок? Потом я обязательно оприходую тебя наверху, – он продолжал громко жевать и глотать.

– Пошел ты к черту, Ральф, – вздохнула Лили. – К чертовой матери!

Она подошла к огромному столу, взяла ближайший торт и бросила его в «проповедника».

Его глаза, выглянувшие из месива, в которое превратилось лицо, не на шутку ее испугали. Она отошла к Хобарту и затаилась.

– Ну хорошо, Лили, – сказал «проповедник».

– Только не делайте ей больно, – взмолился Хобарт, тоже напуганный его изменившимся поведением.

Первый брошенный «проповедником» торт попал не в Лили, а в Хобарта. У него перехватило

дыхание, но не от боли, а от нечаянного удовольствия.

– Сейчас же перестаньте. Мы обязаны это прекратить, – призвала Лили. – Мы же взрослые люди, в конце-то концов, – она всхлипнула, но мужчины почувствовали фальшь. – Гляньте на мою кухню, – пыталась она их образумить.

«Проповедник» снял короткие трусы, надетые всего пару минут назад. Сначала он взял один торт, затем другой и размазал их по всему телу, даже по волосам на голове. Теперь Лили разрыдалась всерьез, словно собираясь утопиться в слезах. Неожиданно в нее попал торт, она взвизгнула, но потом замолчала.

В комнате воцарилась непривычная тишина. Подняв голову, Лили увидела, что Хобарт тоже полностью разделся, а «проповедник» плавно и нежно размазывает торты по его худому мускулистому торсу. Затем Хобарт начал медленно и неумолимо слизывать кусочки торта с тела испачканного «проповедника». Тот ответил ему взаимностью и слизал кусочки с Хобарта, громко чавкая, точно дикий зверь. Затем они обнялись и снова принялись слизывать десерт со своих обнаженных тел.

– Только не в моем доме! – встала и рявкнула Лили. – Мерзавцы…

Но «проповедник» бросил в нее один из оставшихся тортов, который угодил прямо в грудь и разлетелся красными брызгами по всему лицу и телу, так что теперь она напоминала женщину, взорванную бомбой.

Тут Ральф очень нежно обнял Хобарта и покорно слизал вкусные кусочки с его тела, а Хобарт прильнул к Ральфу и собрал языком целый ассортимент различных десертов.

Затем Лили выбежала через парадную дверь и завопила:

– На помощь! Умираю! Помогите!

По всей округе яростно залаяли псы.

Она очень быстро вернулась. Мужчины по-прежнему прижимались друг к другу, слизывая кусочки со своих измочаленных тел.

Со слабым, почти неслышным плачем усевшись за стол, Лили схватила вилку и принялась за кусок недоеденного яблочного пирога.

ЛЕТНИЕ ИЗВЕСТИЯ

На просторной лужайке был в разгаре детский праздник; несмотря на высокую изгородь, он был хорошо виден из соседнего поместья, принадлежащего мистеру Тейту. Школьники, человек десять, недавно выбравшиеся из-под опеки нянек, собрались на день рождения Руперта, сына миссис Эвелин. Обед и празднества были устроены на крокетной площадке, но приспособления для игры убрали лишь отчасти: кое-где стояли воротца, валялась пара колотушек, в клумбе настурций отдыхал красно-белый деревянный шар. Ямайский садовник мистера Тейта, бронзовый, точно идол, наблюдал за детьми, поливая лужайку миллионера из сияющего черного шланга. Пионы только что раскрылись. На лужайке, где проходило пиршество, к терпкому запаху настурций и ноготков примешивался мягкий аромат июньских роз; на деревьях зеленела нежнейшая летняя листва, крошечные золотисто-коричневые лягушки скакали по земле. Ямайский слуга не сводил глаз с детей. Их светлые волосы и белые летние костюмы странно контрастировали с июньской зеленью, и яркость столь многих красок опаляла ему глаза, вынуждая часто отрываться от работы. Эдна Грубер, компаньонка и секретарша миссис

Эвелин, пообещала, что после обеда даст ямайцу кусок второго праздничного торта, добавив, что добросердечное предложение исходит от самой миссис Эвелин. Он кивнул, когда Эдна сообщила ему о грядущем угощении, но таким рассеянным и задумчивым стал не из-за предвкушения торта, а от непривычного вида стольких детей сразу. Эдна заметила, что праздник переменил настроение садовника: когда она подошла поговорить к изгороди из кустов бирючины, разделяющей два больших участка, он отвечал еще реже обычного.

Еще более рассеянный, чем прежде, он поливал пионы до тех пор, пока с клумбы не хлынул легкий поток, промочив его сандалии. Тогда он перешел на другое место и стал через тонкую насадку опрыскивать айвовые деревья. Мистер Тейт, его работодатель и хозяин поместья, растянувшегося вдаль и вширь, насколько хватало взора, если не считать владений миссис Эвелин, уехал на турнир по гольфу. В большом доме остались только белые служанки; в отсутствие хозяина они почти весь день спали, а когда бодрствовали, равнодушно шпионили за ямайцем, поливавшем и без того влажную черную землю и безупречно зеленую и недвижную, точно на картине, траву. Да, его глаза, его разум спали сегодня, несмотря на несносный шум, который подняли сорванцы, приглашенные на день рождения. Казалось, что его длинные черные ресницы постоянно увлажняются то ли водой из шланга, то ли бесконечным потоком слез.

Мистер Тейт не был внимателен или добр к нему, но являлся его благодетелем – именно это слово возникало на устах у всех, кто с давних пор знал садовника и его работодателя, и слово это связывал с мистером Тейтом и сам Гелвей, ямайский слуга. Мистера Тейта нельзя было назвать не-

добрым, но он был неласков; нельзя было назвать его и суровым, но платил он мало и почти не разговаривал с садовником, передавая свои поручения, коих было великое множество, через кухонных и кабинетных служанок. Впрочем, однажды, когда слуга заболел воспалением легких, мистер Тейт без предупреждения появился утром в больнице, игнорируя правило, что посещения разрешены только в вечерние часы, и, ничего не сказав Гелвею, несколько минут простоял у его койки, глядя на больного, словно пришел проведать одну из своих занедуживших верховых лошадей.

Но миссис Эвелин и Эдна Грубер говорили с Гелвеем, были добры к нему. Миссис Эвелин даже старалась с ним подружиться. Она заговаривала с ним через изгородь каждое утро, не обижаясь и не удивляясь, если он почти ничего не отвечал. Казалось, ей известно нечто о его прошлом, – во всяком случае, она знала Ямайку, бывала там три или четыре раза. Так что женщины – Эдна и миссис Эвелин – общались с ним много лет, справлялись о его здоровье, о его работе во дворе и частенько награждали лакомствами со своего щедрого стола: так дают вкусный кусочек породистой собаке, прибежавшей из большого поместья.

Он вспоминал золотые волосы детей и после того, как гости встали из-за праздничного стола и вошли в дом, ожидая, когда за ними прибудут лимузины и развезут по собственным огромным домам. Белоснежные волосы плыли перед его глазами, точно воспоминание о полях диких лютиков за оградой поместья, полевых цветов, порой появлявшихся и в безукоризненной зелени, за которой он следил – золотые венчики, яркие, как сильные лучи полуденного солнца. А потом возникло воспоминание о блеснувшем праздничном торте с

желтым центром. Рот садовника увлажнился от мучительного предвкушения, слезы снова навернулись на глаза.

Солнце садилось, когда он выключил шланг и вытер руки – мокрые, запятнанные ржавчиной и какой-то слизью, вытекшей из насадки. Он вошел в маленькую кирпичную мастерскую, снял промокшую до нитки рубашку и надел сухую из выцветшего хлопка, украшенную рисунком с цветочками из шести лепестков. После ликования счастливых золотоволосых детей за праздничным обедом хотелось поскорее попробовать торт; их голоса все еще звенели в его ушах, словно щебет ласточек на тополях.

Памятуя о приглашении Эдны, Гелвей, ямайский садовник, подождал у кладовки, ожидая, что его позовут войти и отведать праздничное угощение. От раздумий о празднике и маленьких детях, их веселье, проворстве и живости, силе их легких, великолепном аппетите, счастливом звоне столового серебра и тонкого фарфора, к которым прибавились теперь трели птиц, готовых угомониться во мраке своих гнезд, тяжкая ностальгия охватила его, глубоко погребенное воспоминание о былом сразило молниеносно, точно лихорадка или тяжкий недуг. Он вспомнил своих дорогих усопших… Забывшись, он так и стоял на заднем крыльце, но тут Эдна внезапно засмеялась, распахнула дверь и, вспыхнув, заговорила:

– Ну, Гелвей, что же ты стоишь и церемонишься?.. Вот уж не ожидала, что ты начнешь робеть… Торт ждет тебя…

Он вошел и сел на обычное место, где столько раз получал лакомства и вознаграждения.

– Тебя, должно быть, удивляет задержка, – сегодня Эдна говорила с ним официальней обыч-

ного. – Гелвей, у нас, кажется, дурные новости… Пришла телеграмма… Миссис Эвелин боится ее читать…

С этими словами Эдна вышла из комнаты, и открывающаяся в обе стороны дверь кухни затворилась за ней и принялась качаться туда-сюда, точно маятник.

Гелвей перевел взгляд на большой белый торт с желтым центром, который Эдна приготовила для него. Тяжелая серебряная вилка в его руке готовилась вонзиться в толстый, щедро покрытый глазурью кусок, роскошно возлежащий на раскрашенном вручную фарфоре. И тут раздался жуткий вопль: пронесся по бесчисленным комнатам, словно с той лишь целью, чтобы добраться до Гелвея, остановиться прямо перед ним и исчезнуть – испариться в воздухе и небытии над его головой. Губы садовника пересохли; казалось, он ощутил неведомую, внезапную опасность. Вилка упала из смуглой мускулистой руки. Вопль повторился, чуть громче, настала глухая тишина, а несколько минут спустя донесся протяжный безутешный плач. Гелвей знал, что это миссис Эвелин. Должно быть, в телеграмме плохие вести. Он сидел, глядя на нетронутый торт. И желтый центр торта взирал на него в ответ.

Эдна вернулась на кухню – глаза красные, носовой платок крепко зажат в правой руке, опаловое ожерелье сбилось набок.

– Это мать миссис Эвелин, Гелвей… Она умерла… И так скоро после того, как муж миссис Эвелин умер, ты ведь знаешь…

Гелвей пробормотал слова соболезнования, сожаления, которые Эдна не слышала, поскольку старалась уловить любой звук, способный добраться через качающуюся дверь.

Спохватившись, она заговорила:

– Да ты ведь и не притронулся к торту, Гелвей… – она взглянула на него чуть ли не с упреком.

– Ее родная мать умерла… – произнес Гелвей, с трудом поборов смущение.

Но Эдна смотрела на торт.

– Можно будет завернуть остатки, Гелвей, и ты скушаешь его дома, там у тебя появится аппетит. – Она попыталась его утешить, но сама теперь плакала так сильно, что вся дрожала. – Такие вещи происходят внезапно, – ей удалось произнести это безликим тоном, словно она читала напечатанный на машинке список поручений. – Совершенно без всякого предупреждения, вот как у нас. Словно небо обрушилось на землю…

Эдна работала у миссис Эвелин много лет. Она всегда носила маленькие передники. Казалось, она ничем не занимается, только ходит из кухни в прихожую или гостиную и тут же возвращается в исходную точку. Сегодня, руководя детским праздником, она беспрестанно бродила кругами и смотрела сверху вниз на каждого ребенка, так что впору было усомниться, есть ли толк от столь бурных движений. И все же без нее миссис Эвелин не смогла бы управиться с таким большим домом, – так говорили люди. И именно Эдна Грубер первая убедила миссис Эвелин, что Гелвей – человек обязательный и безукоризненно надежный. И именно Эдна Грубер всегда настаивала на том, что нужно пригласить Гелвея, если не находилось никого, кто мог бы выполнить какую-то трудную, а зачастую неприятную и грязную работу.

– Так что, Гелвей, я второй торт целиком отправлю тебе, вот только отыщу подходящую коробку…

Садовник поднялся, так и не съев ни крошки. Он произнес несколько слов и, услышав, как они

вылетают из его собственных уст, удивился, точно буквы возникали перед ним, начертанные в воздухе…

– Мне очень жаль… сочувствую ее горю… Смерть матери… это самая тяжкая потеря.

Затем он услышал стук захлопнувшейся за его спиной двери. Птицы угомонились, на западе застыли багряные облака, и вечерняя звезда плыла над темнейшей их грядой – золотистая, точно головы веселящихся детей. Садовник перекрестился.

Он постоял в большом зеленом дворе мистера Тейта, любуясь травой, которую он сделал красивой для мультимиллионера: сохранил ее живость, но привел в порядок. С наступлением сумерек поднялся ветер, и открывшиеся вечером цветы источали первый нежный аромат, в котором преобладало благоухание ночной красавицы. На земле возле магнолии что-то блеснуло. Он подошел поближе. Это были ножницы для стрижки овец, которыми он подреза́л косматую траву возле деревьев и кустов, большие клумбы и изгородь. Внезапно, оступившись в потемках, садовник жутко порезал ножницами большой палец. Он двинулся прочь, подволакивая ногу, словно распорол не руку, а ступню. Хлынувшая кровь отвлекла его от печальных раздумий. Прежде чем войти в огромный дом мистера Тейта, он оставил окровавленные ножницы в мастерской, потом тихо зашел на кухню, сел на обычное место за длинным сосновым столом, разыскал несколько ненужных льняных салфеток и принялся делать перевязку. Потом вспомнил, что рану следует стерилизовать. Он поискал йод, но в аптечке его не оказалось. Тогда он промыл трепетную плоть раны густым желтым мылом. Сделал повязку и застыл, погрузившись в раздумья.

Пришла ночь. На улице кузнечики и сверчки слились в головокружительном хоре, а от голосов древесных квакш и одной птички, повторяющей все ту же ноту в совсем уж далекой тьме, чувства садовника оцепенели.

Гелвей знал, кто принесет торт – сам именинник. И Руперт будет стоять и смотреть, пока садовник не съест кусок. Губы Гелвея пересохли, точно посыпанные песком. Посланец добросердечной миссис Эвелин уже идет с тортом по тропинке, кусочки гравия поднимаются и падают под его шагами. Руперту нравилось находиться рядом с Гелвеем, если представлялся случай, и, как и его мать, мальчик любил что-нибудь дарить садовнику: то монеты, то рубашки, а теперь вот вечернее лакомство. Ему нравилось трогать Гелвея – так он, наверное, трогал бы лошадь. Порой Руперт взирал на коричневые мускулистые руки ямайского слуги с искренним недоумением.

На заднем крыльце послышались шаги, раздался неуверенный, но громкий стук.

Руперт Эвелин, которому сегодня исполнилось тринадцать, держал коробку в вытянутых руках. Садовник принял угощение немедля, чуть склонил голову и сразу вытащил торт – нетронутый, если не считать куска, который Эдна Грубер отрезала для него в доме: кусок этот, в толстой вощеной бумаге, лежал отдельно от торта, к которому больше никто не прикасался. Гелвей тяжело опустился на стул, все так же склонив голову над подношением. Ему очень смущало безмолвное удивление Руперта: глаза мальчика были прикованы к нему, а не к торту, хотя в полутьме кухни чернокожий слуга растворился в тенях, и только светлая рубашка и полотняные брюки выдавали его присутствие.

Гелвей зажег лампу и тут же услышал удивленный крик встревоженного посланца, напоминающий жуткий вопль миссис Эвелин, прочитавшей телеграмму.

– Ах да, моя рука, – тихо произнес Гелвей и вслед за перепуганным Рупертом посмотрел на повязку – обильно просочившаяся кровь почти полностью окрасила бинт малиновым цветом.

– Не надо ли показать врачу, Гелвей? – Руперт внезапно пошатнулся и, чтобы не упасть, вцепился в предплечье слуги. Он сильно побледнел. Гелвей проворно поднялся, помог мальчику сесть, поспешил к раковине и принес ему стакан холодной воды, но Руперт отказался и снова дотронулся до руки садовника.

– Это смерть бабушки, Руперт, огорчила тебя…

Руперт посмотрел в окно, за которым в мерцающей дали виднелся его дом: там зажгли лампы, и белый фасад казался окруженным тенями кораблем, дрейфующим в летней ночи.

Чтобы хоть чем-то заняться и зная, что Руперт ждет, когда он отведает угощение, Гелвей полностью снял толстую обертку с праздничного торта и извлек его на свет – желто-белый, глазированный, величественный. В доме миссис Эвелин все делали превосходно.

– Ты… добрый… хороший мальчик, – начал Гелвей со странным музыкальным акцентом, который неизменно ласкал слух Руперта. – А вскоре тебе предстоит стать мужчиной, – закончил он.

От этих последних слов лицо Руперта омрачилось, хотя музыка голоса садовника вынудила его улыбнуться и кивнуть, но тут же его глаза сузились, остановившись на окровавленной повязке.

– Эдна сказала, что ты не съел ни кусочка, Гелвей. – Мальчику удалось совладать с собой и произнести это уверенно и твердо.

Садовник, привычно невозмутимый, смотрел на почти нетронутый огромный торт с глазурью цветов и листьев, фигурками человечков и словами, воспевающими любовь, день рождения и год – 1902.

Гелвей проворно поднялся и достал две тарелки.

– И ты тоже попробуй свой праздничный торт, Руперт… Я не должен есть один.

Мальчик решительно кивнул.

Ямаец отрезал два куска, положил их на большие обеденные тарелки, единственные, которые ему удалось найти, и принес увесистые серебряные вилки. Когда он передавал тарелку Руперту, его рука напряглась и кровь закапала на сосновый стол.

В ту же секунду, совсем внезапно, задний двор озарился странными вспышками и красными всполохами. Руперт и Гелвей одновременно подбежали к окну и всмотрелись в ночь. Зрелище, открывшееся им, было необычайным. На дальнем конце лужайки появилось нечто вроде факельного шествия: процессию возглавлял сам мистер Тейт, немолодой коротышка с бычьей шеей. Он был окружен приятелями; все они выкрикивали поздравления, пьяно возвещая, что владелец поместья выиграл турнир по гольфу. Неожиданно друзья подняли мистера Тейта на плечи и громогласно восславили победу.

Прислушиваясь к воплям, звучащим пугающе близко, настигающим садовника и Руперта, которые застыли, точно попав в осаду, именинник нежно сжал пальцы Гелвея.

Они смотрели, как процессия обходит стороной их убежище, свет факелов слабеет и исчезает из вида, гуляки маршируют к парадному входу в особняк, вдалеке от них, и там, за толстой каменной кладкой, утихают все звуки.

Почти в тот же миг, словно возвещая об исчезновении процессии, раздался оглушительный раскат грома, вспыхнули зубцы вишневых молний, и воздух, прежде столь недвижный, взметнулся и восстал в яростном порыве ветра. Затем донесся злобный хлест дождя по бесчисленным стеклам.

– Идем, идем, Руперт, – стал уговаривать Гелвей, – твоей матери сделается дурно от тревоги. – Он снял с крючка огромный макинтош и накинул на мальчика. – Быстрее, Руперт, твой день рождения закончился…

Они пронеслись через лужайку, где еще секунду назад победоносная процессия игроков в гольф прошла с факелами по сухой летней траве. Гелвей, ничем не защищенный от воды, тут же промок до нитки.

Эдна ожидала у дверей с таким примерным тщанием, точно была кариатидой, на короткий срок ожившей, чтобы принять мальчика из рук садовника. Одним движением руки, точно фокусник, она сняла с Руперта и вернула Гелвею его макинтош и сразу захлопнула дверь перед садовником и бурей.

Ямайцу пришлось обождать под большим вязом, листья и ветви которого укрыли его от безмерной ярости грозы – разбушевавшейся, но уже утихавшей.

От макинтоша, чудилось ему, исходит аромат белоснежных волос мальчика, вымытых шампунем за несколько часов до праздника. Благоухание быстро, широкими волнами добиралось до жад-

ных ноздрей Гелвея – запах, почти неотличимый от цветущей жимолости. Садовник на миг крепко сжал макинтош, затем поднес его к губам, прижал к носу и пылко поцеловал, воображая, что снова видит золотые волосы детей за праздничным столом.

РАССВЕТ

Дело было вовсе не в том, что Тимми зарабатывал на жизнь, позируя нагишом для неприличных журналов. Нет, Тим, в основном, рекламировал одежду, и ему неплохо платили. Но один раз он снялся в трусах, и именно эта фотография попалась на глаза его отцу в Северной Каролине. Ну просто как назло! Конечно, отец решил, что существуют другие подобные снимки, и они еще хуже. Ну, такие, где Тим совсем голый. Его отец был тот еще хрен.

И вот папаша прикатил в Нью-Йорк из захолустья, где прожил всю свою жизнь. Население – четыреста человек: небось, считая покойников.

Папаша был нечто. Он заявился посреди ночи – точнее, когда первые лучи рассвета тронули небоскреб Эмпайр-стейт.

– Где Тимми? – спросил он, даже не поздоровавшись и не объяснив, кто он такой. (Я его узнал по фотографии, которую видел у Тима). Он пролез в гостиную, точно сыщик с отмычкой. – Ну, так где? – на этот раз он проорал свой вопрос.

– Мистер Жакуа, – отозвался я. – Он просто вышел ненадолго.

– Еще бы, – хмыкнул старик. – А где он спит, когда бывает дома? – он стал озираться, точно в поисках улик.

Я показал ему комнатку дальше по коридору. Он заглянул туда, осуждающе цокнул языком, поспешно вернулся в гостиную и уселся в большое кресло.

Из кармана на груди он извлек потрепанную вырезку.

– Видал такое? – он подманил меня рукой.

Это была реклама из журнала: Тим позировал в очень маленьких красных трусиках.

Не отвечая, я покраснел, а мистер Жакуа вперил в меня взор.

– Небось, в других местах еще такое есть, – произнес он гневно. – Ну-ка! – добавил он приказным тоном, когда я не ответил.

– Я в его дела нос не сую, – произнес я невпопад. И снова покраснел.

– Ну, если так, я тебя не виню, – произнес он примирительно. – Послушай, Фредди… ты же Фредди, верно, он ведь с тобой снимает квартиру? Слушай внимательно. Я хотел, чтобы Тим был адвокатом, зарабатывал хорошие деньги и остепенился, но он уже в 10 лет задумал стать актером. – Казалось, мистер Жакуа выступает перед большим собранием: он смотрел куда-то за окно моей квартирки. – На деньги, которые я ему посылал, можно было дать образование четырем ребятам. Я бы, наверное, даже вытерпел, если б у него получилось в театре. Но где роли, которые он должен был найти? Скажи мне! – старик отвернулся от окна и посмотрел на меня. – У него не получилось, – с этими словами он гневно взглянул на рекламу трусов.

– Но у Тима были неплохие роли, мистер Жакуа. Даже на Бродвее, – я начал оправдываться, но был так сбит с толку грубостью и бесчувственностью этого человека, что, в конце концов, решил просто смотреть на него, как на скомороха.

– Где-то развинтилась гайка, – он проигнорировал мое сообщение об актерских достижениях Тима. – Я приехал забрать его домой, Фредди.

Теперь он глядел очень печально, словно, изучив меня, все наконец-то понял: и про рекламу трусов, и про актерскую карьеру, и про развинченную гайку.

– Слушай сюда. У нас дома все видели эту рекламу, – он ткнул пальцем в вырезку. – Чертова штука была в цирюльне, потом оказалась в бильярдной, в кабинете зубного врача и бог знает где еще: может, дошла до воскресной школы и церкви.

– Ну, за нее хорошо заплатили, мистер Жакуа.

– Хорошо заплатили, – повторил он, и тут я вспомнил, что он работает адвокатом. – Ну еще бы, – он ухмыльнулся, словно, поразмыслив, решил дать мне отвод как свидетелю.

– Актером быть очень сложно, мистер Жакуа, – прервал я молчание. – Знаю, потому что я сам актер. Понимаете, серьезного театра больше нет.

– А кофе у тебя имеется, Фредди? – спросил он после долгого молчания.

– Я сварил кофе на завтрак, сэр. Налить вам?

– Да, это было бы кстати. – Он свернул рекламу красных трусов и спрятал в карман до следующего раза.

– А еще больше мне бы хотелось, – сказал он, пригубив мой крепкий напиток, – так это, если позволишь, прилечь на его кровати и подождать, когда он придет.

Мистер Жакуа не стал дожидаться моего согласия: он немедленно отправился в спальню и энергично захлопнул дверь.

* * *

– Тут твой отец, – сообщил я Тимми, когда тот появился в дверях.

– Нет, – простонал Тим. Он сделался смертельно бледен, почти позеленел.

– Лежит на твоей кровати, – уточнил я.

– Ох, Фредди, – сказал он. – Я боялся, что рано или поздно это случится… Чего ему нужно?

– Ну, он видел тебя на этой рекламе трусов.

Гримаса, появившаяся на лице Тима, походила на улыбку умирающего человека, которого я однажды видел: его застрелили на улице. Я отвел взгляд.

– Он рассчитывает, что ты поедешь с ним домой, Тимми, – предупредил я.

– Боже всемогущий! – Он опустился в кресло, взял чашку с кофе, которую оставил его отец и глотнул. Настал мой черед кисло улыбаться.

Тим просто сидел так с час или больше. Я делал вид, что убираю нашу квартиру, но при этом поглядывал на него очень часто, и вид его меня тревожил.

Затем внезапно, точно по сигналу суфлера, он поднялся, расправил плечи, что-то пробормотал и, не сказав мне ни слова и даже не взглянув на меня, подошел к двери спальни, распахнул ее и вошел.

Поначалу голоса были еле слышны, почти шепот, затем они выросли до головокружительного крика; доносились проклятья и грохот – все, как обычно в домашних ссорах. Потом настала тишина, и в этой тишине я слышал, как плачет Тим. За три года, которые мы прожили вместе, я ни разу не видел, чтобы он плакал. Я ужасно огорчился. Он плакал, как маленький мальчик.

Я сел, потрясенный, точно мой собственный отец вернулся с того света и указал мне на все мои недостатки и неудачи – и актерские, и человеческие.

Наконец, они вышли вместе: Тим нес два своих чемодана.

– Я съезжу домой, Фредди, – на этот раз он улыбнулся старой знакомой улыбкой. – Возьмика, – он протянул мне ворох банкнот.

– Я не хочу, Тимми.

Тогда отец забрал у него деньги – там было несколько купюр по сотне долларов – и буквально впихнул мне в руку. Отчего-то от мистера Жакуа я их мог принять.

– Тим напишет тебе, когда устроится дома. Правда, Тим? – спросил старик, когда они были в дверях.

Их шаги стихли, а я упал и заплакал даже не как маленький мальчик, а как младенец. Плакал я больше часа. И, странно сказать, я чувствовал себя словно посвежевшим, когда пролил столько горьких слез. Я понял, как ужасно страдаю в Нью-Йорке и как люблю Тима, хотя и знал, что он меня любит не так уж сильно. И знал тогда, да и знаю сейчас, что никогда его больше не увижу.

РИКОШЕТОМ

– Честно говоря, джентльмены, – рассуждал Руперт Даутвейт серым январским днем перед нами – несколькими американцами, изредка навещавшими его в лондонском «изгнании», – никто в Нью-Йорке, из тех, кто имел вес в обществе, не ожидал возвращения Джорджии Комсток, – произнеся это имя, Руперт застенчиво, напыщенно, но по-своему обаятельно кивнул, намекая, что она была наследницей, что у нее было «все», иначе бы о ней и не упоминали. – Она сидела вон там. – Он показал на отреставрированное фамильное кресло, прибывшее вместе с ним из Нью-Йорка. – Я никогда не предполагал, что Джорджия способна искать расположения, по крайней мере, у меня, ведь, в конце концов, – он потрогал колоритный бакенбард, – если позволите вам напомнить, именно я занял место Джорджии в литературных салонах. – Он тяжело вздохнул (одна из его старых манерных привычек), достал монокль (одна из новых) и положил его на ладонь, словно умирающую бабочку. – В конечном счете, салон Джорджии долгие годы был единственным порядочным салоном в Нью-Йорке, и я говорю это, любезные друзья, без тени преувеличения. Признаться, он никогда не был изысканным, роскошным, комильфо – впро-

чем, как и сама бедняжка Джорджия. Она была проста, заурядна, ужасала своей извечной вульгарностью и дурным вкусом, но обладала энергией ошпаренного черта и обратила эту энергию в создание такого заведения в Нью-Йорке, где по четвергам волей-неволей появлялись все.

Когда милашка вернулась из долголетней ссылки, мне тяжело было видеть, насколько она помолодела. Это ей не шло. Скажем так, мне она больше нравилась прежней. Ясно, что она сделала себе наилучшую подтяжку лица, какая возможна в Европе. (Вы же знаете, в Нью-Йорке все на этом буквально помешались. Помните Кэтрин Коумс, экранную красотку? Сейчас у нее один глаз выше другого, рот не двигается, и так далее. Когда я теперь смотрю на Кэтрин, я словно заглядываю в открытый гроб.) Но Джорджия! Ей можно было дать лет сорок от силы.

Заметьте, я знал, что она вернулась в Нью-Йорк не затем, чтобы признаться мне в любви (эта женщина ненавидела меня всю жизнь, вне всякого сомнения), но зачем бы она ни приехала, мне пришлось напомнить себе, что она оказалась полезной, когда от меня ушла Китти. – Руперт произнес имя своей третьей жены – крупной нью-йоркской романистки, которая, по словам бывшего мужа, променяла его на плюгавого полковничка. – Да, – вздохнул он, – когда все газеты уже писали о моем разводе, а сам я еще до конца не осознавал, что она ушла, Джорджия проявила величайшую чуткость и даже доброту, переехала, чтобы заботиться обо мне, возилась со мной, будто наседка, и так далее. Я готов был сигануть в реку, но эта стерва привела меня в чувство. Поэтому, когда она появилась пять лет спустя после того, как Нью-Йорк вышвырнул ее вон, да еще и обзаве-

лась новехоньким личиком, я сразу понял, что она прибыла по такому же судьбоносному делу, каким был мой разрыв с Китти, но, признаюсь, не думал, будто она приехала лично ко мне, а ведь она хотела начать все сначала (разумеется, я имею в виду салон). Узнав, что она затевает, я тотчас попытался ей объяснить, что порядочные люди так не делают. Понимаете, после нью-йоркского провала она жила в Югославии…

Как только она призналась, что действительно хочет начать все сначала, я сказал напрямик: «Джорджия, ты, наверное, шутишь? Хотя ты выглядишь моложе своих лет, золотце, ты сама не понимаешь, о чем говоришь. Наверное, после пшеничных полей и сеновалов Славонии тебе ударил в голову грязный нью-йоркский воздух».

«Руперт, ангел мой, – нараспев сказала она, – я на коленях пред тобой и не раскаиваюсь в этом! Родной, помоги мне вернуться и остаться!»

«Вздор, – прервал я ее лицедейство, – не желаю даже слышать, и ты тоже не захочешь об этом слышать, как только придешь в чувство».

Я почему-то расстроился больше, чем следовало. Ее приезд и желание возобновить салон позволили мне осознать то, что уже витало в воздухе – нечто скверное, слегка пугавшее, и неожиданно для себя я сам это озвучил: «Пока тебя не было, милочка, в Нью-Йорке все изменилось. Ты бы никого не узнала. Большинство старых писателей боятся выйти на улицу, а новых можно повстречать разве что на плацу. Боюсь, голубушка, с салонами покончено».

«Мне кажется, я могла бы начать сызнова, Руперт, любимый, – она проигнорировала мои слова. – Ты же знаешь, салон был для меня всем, он и теперь для меня – все. Только не говори о чистом югославском воздухе и сеновалах».

Я смерил ее взглядом с головы до ног и призадумался. Передо мной стояла женщина ценой двадцать миллионов, унаследованных после смерти папаши, и еще шесть-семь миллионов, заработанных на фильмах по ее детективным романам. Не знаю, помните ли вы, ребята, но Джорджия и сама была романисткой. Однако теперь она превратилась в аллегорию скорби. Я никогда не видел, чтобы женщина так сильно чего-то желала, хотя на своем веку я немало повидал, как они бегали с высунутыми языками за сущей мелочью.

«Ангел мой, я сделаю тебе большой вкусный ледяной коктейль, каких не готовят в Загребе, а потом укутаю и отправлю домой спать». Но она не хотела образумиться. «Руперт, любовь моя, ты же сам говорил, что однажды я тебя спасла (она, конечно, преувеличивала), и теперь ты должен спасти меня».

Она взяла быка за рога.

«Скажи, какую ошибку я совершила? – произнесла она после краткой борьбы с собственной гордостью. – Почему меня выставили из Нью-Йорка, голубчик? Почему внесли в черный список и захлопнули перед моим носом все двери?» – всхлипнула она.

«Джорджия, лапочка, если ты сама не понимаешь, почему тебе пришлось покинуть Нью-Йорк, никто тебе этого не разъяснит», – резковато ответил я.

«Но я и правда не понимаю, Руперт! – горячо подхватила она. – Вот те крест, – вздохнула, – не понимаю».

Я погрозил ей пальцем.

«Дорогой Даутвейт, ты восседаешь, словно помазанник и властелин всего мироздания, чья единственная обязанность – отказывать во всех

прошениях смертных, – усмехнулась она, а затем добавила: – Не будь без нужды жестоким, красавчик».

«Жестоким я никогда не был, – возразил я. – Но, Джорджия, ты ведь знаешь, что сделала и что сказала в знаменательный вечер своего великого провала, после которого навсегда канула в лету. Ты сожгла за собой все мосты, шоссе и коровьи тропы, когда напала на негритянского романиста Берли Джордана в присутствии всех важных персон литературного сообщества».

«Я? Напала?» – ехидно переспросила она.

«Господи, не притворяйся, будто не помнишь, – я изучал ее новый рот и подбородок. – После твоего ухода, Джорджия, Берли даже приобрел еще больший вес. Вначале он был величайшим чернокожим писателем, затем стал величайшим Чернокожим, а сейчас он, бог весть, кто такой – я же не слежу ежечасно за обстановкой. Но когда ты оскорбила его в тот вечер, и без того находясь на пороге краха, это стало концом для тебя самой и почти для всех нас. Дабы обеспечить себе будущее, мне тотчас же пришлось запрячься в работу».

«Ты все такой же мастер преувеличений, дорогуша», – вздохнула она.

Но я был неумолим.

«Так, значит, ты серьезно?» – захныкала она, размазав один глаз.

«Абсолютно, Джорджия, – ответил я, подчеркивая каждое слово. – Когда ты своими руками вырыла себе могилу, к власти пришел я». (Я подождал, пока до нее дойдет, что мой собственный салон, остававшийся крошечным при уже огромном салоне Джорджии, в ее отсутствие разросся и теперь полностью ее заменил. Если можно так выразиться, я стал *ею*.)

«Не мог бы ты выложить как на духу, что я такого сказала Берли?» – повернувшись ко мне спиной, она стала рассматривать новую картину, которую я на самом деле приобрел лишь пару дней назад. Я заметил, что она оценила ее невысоко и почти сразу отвернулась.

«Ну же?» – настаивала она.

«Неужели ты думаешь, что я повторю слово в слово, ведь с тех пор утекло столько воды? Твои слова, конечно, были грубыми, но все решил твой фирменный тон и тщательно рассчитанное время для этой злобной фразы. Ты же королева стерв, солнышко, и, пиши ты книги столь же язвительно, как говоришь, тебе не было бы равных среди романисток… В четырех или пяти различных перефразировках своего изначального аффидевита ты заявила, что никогда не поцелуешь черную задницу, пусть даже тебя и твои четверги сотрут в порошок».

«Совершенно запамятовала это забавное заявление», – хихикнула она.

Именно в эту минуту позвонили в дверь, и вошли четверо или пятеро маститых писателей. Все они с удивлением посмотрели на Джорджию, да и сама она не смогла скрыть изумления, увидев, что они заходят ко мне запросто. Затем мы ее игнорировали, но она не желала уходить. Как только гости добрались до бутылок и закусок и разговорились между собой, Джорджия протиснулась и снова насела на меня.

В конце концов, исключительно для того, чтобы она отстала, я предложил ей дьявольский, неосуществимый план, который, по моему утверждению, должен был восстановить ее повсюду в правах и проложить путь к повторному открытию его четвергового салона. Все называют меня са-

мым бездушным циником на свете, но клянусь тем, что для вас свято (если у вас осталось хоть что-то святое), я и вообразить не мог, что она примет вызов, когда я скажу, что, стоит ей символически, чисто для проформы, поцеловать Берли туда, куда она зарекалась его целовать, как она тотчас вернется в бизнес. Понимаете, я думал, что, услышав мое невинное предложение, она обидится и уйдет, а через пару дней ее след простынет в Нью-Йорке, ну, или, по крайней мере, сам я от нее избавлюсь. Но то ли она перебрала моих ледяных шедевров, то ли так подействовал ядовитый нью-йоркский воздух – словом, я буквально опешил, когда она просто сказала:

«Тогда устрой это в следующий четверг, дорогой. Я приду, и скажи Берли, чтобы не подвел. Я сделаю это, родной, – для тебя и для всех нас».

На следующий день я позвонил ей и сказал, что не стоит принимать мои слова всерьез, что я всего-навсего пошутил, и так далее, и тому подобное. Но она заверила, что сделка состоялась, пообещала прийти в четверг и повесила трубку.

Я так разозлился на эту стерву, что тут же позвонил чернокожему великану Берли и с места в карьер обо всем ему рассказал. Понимаете, в то время мы с Берли, скажем так, были больше, чем друзья, – по старой привычке Руперт самодовольно ухмыльнулся. – Ну и, – продолжил он, – к моему легкому изумлению, наша милейшая знаменитость с готовностью на все согласилась.

Трезво поразмыслив пару часов, я запаниковал. Сначала перезвонил Берли и попробовал уговорить его не приходить. Но Берли несся на гребне новой волны идолопоклонства и паранойи, и море ему было по колено. Он заверил меня, что жаждет прийти и довести до конца наш план,

который окрестил «божественным». Разумеется, тогда я еще не подозревал, до какого конца он собирается дойти, да и бедняжка Джорджия, разумеется, тоже!

Потом я, конечно, снова попытался отговорить Джорджию. С таким же успехом можно было убедить Жанну д'Арк вернуться на скотный двор. Тогда я представил все именно так, как оно затем и произошло, впрочем, возможно, не во всех подробностях. – Он с тоской окинул взглядом лондонский интерьер и осклабился: говоря о Нью-Йорке, Руперт еще больше по нему скучал, ведь, несмотря на предпринятую попытку, ему не хватило таланта, чтобы создать салон в Лондоне.

– Я не спал накануне всю ночь, – Руперт Даутвейт приступил к описанию события, приведшего к его краху. – Я считал себя дерзким, полагал, что меня никому не догнать. Ведь по шику, вкусу и блеску именно мои четверги опередили четверги Джорджии, как минимум, на целое поколение. И вот в воздухе запахло жареным: кто-то вознамерился перехватить у меня инициативу.

Вы не поверите, в тот вечер пришли все: точно почуяв грядущее событие, ко мне умудрились прибыть какие-то люди из Вашингтона, надоедливая принцесса и коронованные особы из всех вотчин тщеславия. Там был даже толстяк из Канзас-сити, который несколько сезонов назад сделал себе обрезание, с целью втереться в нью-йоркскую литературную тусовку.

Когда вошла Джорджия, никто ее вначале не узнал – даже Берли. Она вся сияла, хоть и была слегка напряжена, и я впервые заметил, что ее подтяжка не слишком стрессоустойчива, однако Джорджия все-таки выглядела наполовину моложе своих лет и потому с первой же минуты имела оглушительный успех.

«А теперь, моя прелесть, – сказал я ей на ушко, благоухавшее каким-то эфирным маслом по двести долларов за унцию, – пожалуйста, раскланяйся со всеми и поезжай домой – моя машина стоит прямо напротив двери, за рулем Уилсон. Сегодня ты произвела фурор, и теперь скройся, пока все еще аплодируют».

«Я доведу это дело до конца, солнышко», – она была тверда, как кремень, я заметил, что Берли поймал старухин взгляд и подмигнул.

«Только не в моем доме, – прошептал я, лихорадочно целуя ее в безумном стремлении скрыть от гостей собственное отчаяние. – Как ни крути, я предложил свой планчик, когда мы были навеселе».

«Латинская пословица гласит: истина – в вине», – она поцеловала меня в губы и оставила, а затем обошла всю комнату, как в прежние времена своего салонного величия, пожимая протянутые руки, купаясь в объятьях и поцелуях. Она имела ошеломляющий, головокружительный успех, и мне вдруг показалось, что ни она, ни Берли не собираются делать того, на что согласились, а я, как дурак, попался на их удочку.

Видя, какое сильное впечатление она произвела, я стал напиваться и, чем сильнее ее хвалили, тем больше злился и нервничал. Я бы ни за что не потерпел, чтобы Джорджия вернулась и заняла мое место.

Я подошел к Берли, которому все поклонялись до исступления. Он тотчас обернулся и сказал:

«Руппи-детка, ты пришел снова попросить меня не делать того, что я всенепременно сделаю?» – он злобно улыбнулся.

«Берли, миленький, – я взял его за руку, – я не просто хочу, чтобы ты дошел до громкого, гран-

диозного конца, но чтобы все получилось на мегатонны колоссальнее, чем мы запланировали. Именно это я и хотел тебе передать», – я поцеловал его и молча обнял.

Теперь меня уже нельзя было ничем запугать, и мое предложение казалось слегка невообразимым даже мне самому, даже спьяну. Я смутно осознавал, что сам нарываюсь на политическое убийство.

Но чем дольше я наблюдал за тем успехом, которым Джорджия пользовалась у всех без разбору, тем нестерпимее мне хотелось, чтобы назревавший скандал, наконец, разразился. А тут еще величина ее брильянта – это уже было чересчур. В нашей среде таких огромных брильянтов никто не носил. Она хотела этим оскорбить меня, высмеять при всем честном народе, показав, что я могу наскрести от силы миллион, а она не сосчитает все свои деньги и за два года ревизии.

Прошло время. Я заглянул в туалет, где готовился Берли, обнял его и подбодрил.

А затем ощутил величайшее спокойствие, какое, говорят, чувствуют люди, узнав, что жить им осталось недолго. Я сдался, нашел себе удобное местечко поближе к сцене и плюхнулся в кресло. Все обо мне забыли.

По-прежнему оставаясь в центре внимания, Джорджия направилась прямиком туда, где собиралась выступить по случаю своего возвращения.

Как раз вошли новоиспеченные знаменитости, которым я едва успел кивнуть: герцогиня, какая-то второсортная знать, сенатор, дива и, откуда ни возьмись, популярный кинокритик, внезапно обнаруживший, что он никакой не гомосексуалист. Тут-то из клозета с шумом и гоготом выплыл Берли: в чем мать родила, с перьями в волосах.

Я заметил, что Джорджия на мгновенье замерла (ведь в нашем изначальном плане ничего не говорилось о наготе, во всяком случае, она думала, что речь идет о символическом жесте), точнее, мне просто показалось, что она замерла. На самом же деле Джорджия просто остановилась, поставила бокал, расправила, как бравый солдат, плечи и в ожидании застыла.

Берли запрыгнул на расчищенный по такому случаю мой прекрасный старинный ореховый стол. Все изобразили притворный восторг. Джорджия завертелась, точно кролик перед удавом. Берли повернулся к ней спиной, наклонился и с боевым воплем отклячил черные булочки. Оттягивая время, она покачнулась, после чего (я не увидел этого из-за голов, а только услышал) поцеловала его в зад. Поднявшись, я сумел разглядеть, как он подставил ей перед и середину – там все колыхалось, но кто-то снова заслонил обзор, и по ропоту в толпе я догадался, что она довела дело до конца, поцеловав Берли и спереди.

Затем я услышал ее крик и, встав, как раз успел увидеть, что Берли намазал ей лицо черным дегтеобразным веществом и приклеил пару белых индюшачьих перьев.

Наверное, Джорджия пыталась сделать вид, что все так и задумано, что это великолепная шутка, но ее вопли доказывали обратное, и они с Берли стояли друг против друга, подобно двум жертвам автомобильной аварии.

Я тотчас понял, что все рухнуло. Всем стало противно или, в лучшем случае, скучно. Ни намека на успех. Не знаю, в чем тут причина: неправильно выбранный момент, не те люди, плохие актеры или вечерний час – объясняйте, как хотите, но то был ужасный, гнуснейший провал.

Я поковылял в заднюю часть квартиры и, почувствовав тошноту, улегся на пол рядом с каучуконосом. Почему-то вспомнил Китти, ушедшую, словно вчера, точь-в-точь как старый романист *manqué*[1] вспоминает все написанные им, которые издатели никогда не дочитывали даже в машинописи, не говоря уж о том, чтобы пообещать публикацию, и громко рыгнул. Люди наклонялись и, очевидно, щупали мой пульс, затем другие начали один за другим выходить, с извиняющимся видом кашляли, кивали либо подавляли слабый смешок. Они решили, что от досады я упал в обморок. Подумали, что я сам этого не ожидал. Сочли меня ни в чем не виноватым, но, тем не менее, пропащим человеком.

Я никогда не видел столь чистого, всеобъемлющего, убийственного фиаско. Все равно что подать остывшую жидкую бурду, назвав ее тортом-безе с мороженым.

Несколько недель я ни с кем не общался. Джорджия, насколько я понимаю, уехала пару дней спустя в Прагу. Это никак не задело одного лишь Берли. Ничто не способно ему навредить – ни плохие рецензии, ни публичное осмеяние: ему достаточно хлопнуть в ладоши, и толпы носят его на руках, а деньги льются рекой, как осенний дождь.

Теперь у Берли есть собственный салон, если можно назвать салоном его многолюдные субботние сборища, а мы с Джорджией остались в прошлом – еще более отдаленном, нежели Французская или Индейская война.

Ну и, отвечая на твой первый вопрос, Гордон, – Руперт обратился теперь ко мне, своему нынешнему американскому любимцу, – Лондон, конечно,

---

1 Несостоявшийся *(фр.)*.

умиротворяет, но это совсем не мой мир, дружок, ведь я не чувствую себя здесь, как дома. Просто мне нужно отсидеться один сезон на скамейке запасных, наслаждаясь более величественным антуражем, не так ли? Не знаю, где сейчас Джорджия. Кто-то говорил, в Болгарии.

ГОЛУБОЙ КОТИК

Давным-давно в одной далекой стране жила знаменитая оперная певица, очень любившая кошек. Величайшее вдохновение обретала она, беседуя со своими кошками, как до, так и после выступлений в лучших оперных театрах. Без поощрения и любви этих одаренных зверьков, думалось ей, никогда не удастся понять различные партии, которые она исполняла на оперной сцене. Единственная ее печаль заключалась в том, что любимые кошки часто умирали, исчезали, а иногда их похищали завистники.

Мадам Ленору, оперную певицу, обожал кронпринц, которому во время этой истории было всего пятнадцать. Он не пропускал ни одного выступления мадам Леноры, преподносил ей дорогие подарки, а однажды после спектакля устроил так, что вся сцена была усыпана самыми дорогими экзотическими цветами.

Как-то раз кронпринц узнал, что мадам Ленора потеряла последнюю из своих кошек. Принц немедленно решил послать ей новую, но он знал, что это должна быть не просто самая красивая кошка королевства, но и самая смышленая и талантливая.

Принц обыскал свои владения, надеясь найти кошку, которую заслуживает столь выдающаяся

певица. Он заходил в сотню с лишним лавок. И лишь весьма нескоро нашел подходящего котенка на окраинном базаре, который держал абиссинский юноша по имени Абдалла. Абдалла сообщил его величеству, что хотя коту, которого он предлагает, всего несколько месяцев, тот уже демонстрирует поразительную силу ума и, следуя наставлениям хозяина, свободно овладел человеческим языком.

Находка изрядно воодушевила принца, и он немедленно приобрел столь выдающегося котенка.

– Должен предупредить лишь об одном, ваше величество, – сказал Абдалла, когда принц уже собирался удалиться со своей покупкой, – этому коту нельзя общаться с обычными кошками, он должен быть всегда близок человеку – своему владельцу и охраннику. Поскольку, думается мне, он кот лишь по облику, душою же он – высшее существо.

Эти слова Абдаллы еще больше восхитили принца, он пообещал выполнять наставления и отправился в путь с одаренным котом.

По дороге во дворец кот, ошарашив принца, внезапно обратился к нему тихим, но ясным и неподдельным голосом.

– Мой принц, меня зовут Голубой Котик, – начал кот, – и я польщен, что вы решили принять меня в своем королевском хозяйстве. Можете рассчитывать, ваше величество, что я всегда буду преданным вассалом, никогда не разочарую вас и не покину вашу королевскую компанию.

– Спасибо, Голубой Котик. Я весьма тронут твоей речью, – ответил юный принц. Но, к сожалению, – замялся он, – к сожалению…

– К сожалению что? – поинтересовался кот, заметив, что венценосный хозяин огорчен. – Пожа-

луйста, откройте мне, что вас томит.

– Дражайший Голубой Котик, на самом деле я пообещал тебя другому человеку.

– Другому! – Голубой Котик возвысил голос. – Как такое возможно?

– Я пообещал тебя, дорогой друг, самой красивой и самой талантливой оперной певице наших дней, мадам Леноре.

Кот ничего не сказал, но принц увидел, что талантливое существо глубоко уязвлено тем, что его обещали постороннему.

– Не могу же я взять и отказаться от собственного обещания, верно? – в голосе принца звучало страдание.

– По-видимому, нет, – смущенно откликнулся кот. – Но будет тяжко оставить ваше королевское величество даже ради такой талантливой и пригожей особы, как мадам Ленора.

– Но я всегда буду рядом с тобой, Голубой Котик, и ты можешь обращаться ко мне в любой час. Не забудь об этом.

Заметив, как несколько слез выкатились из дивно голубых глаз кота, принц понял, что Голубой Котик получил такое имя благодаря чудесному цвету своих очей.

Принц обнял необычного зверя и попытался утешить его приятными словами, но увидел, что, к сожалению, никакие речи не способны успокоить кота, потерявшего монаршее покровительство и общество.

На следующий день принц пригласил мадам Ленору во дворец для вручения обещанного подарка.

Был чудесный июньский вечер. Аромат жасмина застыл в воздухе, в совершенно безоблачном синем небе порхало множество певчих птиц,

а многочисленные деревья, окружавшие дворец, трепетали от легкого ветерка.

Мадам Ленора появилась в обществе юного слуги, который был исключительно предан прославленной певице и почти всюду сопровождал ее.

Принц не позволил мадам Леноре поклониться.

– В этот вечер вы владычица, – принц взял ее за руку, – и это я должен склонить голову перед вами.

Когда все расселись, принц не спеша начал свою речь.

– У меня есть подарок для вас, любезная певица, – сообщил он, – подарок, который мне и самому весьма хотелось бы принять.

Он хлопнул в ладоши, и слуга внес огромный серебряный ларец с маленькими окошками: на крышке и боках сияли драгоценные камни.

– Голубой Котик, – произнес принц, вставая. – Выходи и познакомься со своей новой хозяйкой.

– Слушаюсь, мой принц, – донесся тихий, но ясный голос. Голубой Котик, наряженный в изящный костюм с брильянтовыми пуговичками, вышел из ларца, поклонился кронпринцу, сразу направился к мадам Леноре и с прекрасным выговором произнес:

– Добрый вечер, высокочтимая мадам Ленора.

Мадам Ленора была потрясена и обрадована, когда такой прекрасный кот обратился к ней, и чуть не лишилась чувств. Слуга немедля принес ей стакан освежающего напитка, она осушила его залпом и вновь обрела самообладание.

Тут Голубой Котик прыгнул ей на колени и, заглянув в ее глаза, воскликнул:

– Вы именно такая красивая и очаровательная, как твердит весь мир.

– Как же отблагодарить вас, мой повелитель? – вскричала мадам Ленора, обращаясь к принцу. – Вы преподнесли мне тот самый подарок, о котором я мечтала денно и нощно.

Но тут раздался сигнал духовых инструментов, призывающий принца удалиться, так что тот поспешно поднялся и поцеловал руку певицы на прощание.

Затем он повернулся к Голубому Котику.

– Веди себя хорошо, котик, и слушайся новую хозяйку, ведь никто, кроме меня самого, не будет тебя столь преданно любить. Но если тебе понадобится что-то, помни, что я тоже твой верный друг.

С этими словами принц низко поклонился замечательному коту и его новой владелице и, окруженный со всех сторон телохранителями, покинул залу.

Лишь перед тем, как сесть в карету, принц вспомнил предупреждение Абдаллы, написал записку и велел слуге немедленно доставить ее певице.

В записке говорилось:

Ни в коем разе, дорогая мадам Ленора, не позволяйте Голубому Котику общаться с простыми кошками. Он должен говорить только с такими, как мы.

Кронпринц

Мадам Ленора несколько раз внимательно прочитала записку принца и опустила в один из своих вместительных карманов. Она была по-прежнему безмерно очарована чудесным котом, полученным в подарок, и вскоре предупреждение принца выветрилось у нее из головы.

У мадам Леноры никогда еще не было такого верного товарища, как Голубой Котик. Говорил он совершенно свободно, так что не нашлось ни одной темы, которую она не могла бы с ним обсудить. Он задавал тысячу вопросов о ее жизни и музыкальной карьере. Их беседы часто затягивались за полночь, и они засыпали вместе под балдахином роскошной кровати. Если мадам Ленора просыпалась среди ночи и не находила рядом Голубого Котика, она звала его и с радостным облегчением обнаруживала поблизости.

Мадам Ленора стала брать Голубого Котика с собой в оперу. Он терпеливо дожидался ее в гримерной во время представлений музыкальной драмы, а в антрактах они долго совещались.

Зрители и многочисленные поклонники певицы не помнили, чтобы она пела так прекрасно и выглядела так ослепительно, когда исполняла свои разнообразные партии.

И в самом деле, на оперной сцене появилась совершенно новая мадам Ленора.

Певица понимала, что обязана Голубому Котику вторым дыханием и не стыдилась говорить импресарио и дирижеру, что именно кот зачастую объясняет ей, как воплощать роли.

Она была на вершине счастья.

В один прекрасный день константинопольский монарх пригласил ее дать несколько частных представлений для королевского двора. Мадам Ленора уже готова была принять столь важное приглашение, но тут узнала от монаршего посланца, что ей запрещено брать с собой животных.

– Но Голубой Котик не животное, – ответила она посланцу.

Однако тот был непреклонен.

Поначалу мадам Ленора отклонила приглашение, но затем с ней поговорил Голубой Котик:

– Мадам Ленора, ваша карьера – это ваша жизнь, и вам следует ехать в Константинополь без меня. Я вас подожду, да и отсутствовать вы будете всего несколько дней, самое большее – неделю.

Но мадам Ленора была безутешна. Она стенала, всхлипывала и без устали повторяла, что не может остаться без своего верного товарища – Голубого Котика.

В конце концов, под давлением импресарио и представителя константинопольского двора, она приняла нелегкое решение и согласилась поехать.

Она доверила Голубого Котика своему верному слуге, заклиная его следить за драгоценным и возлюбленным котом.

Расставание было душераздирающим, как для певицы, так и для чудесного кота, и пришлось чуть ли не волоком тащить мадам Леонору на корабль, ожидающий в гавани.

Лишившись общества и любви мадам Леноры, Голубой Котик страдал едва ли не больше, чем великая певица без своего диковинного кота. Молодой человек, который должен был его опекать, Джек Морфей, относился к Голубому Котику хорошо, но как к обычному коту: редко с ним разговаривал и никогда не пел, как мадам Ленора. Правда, Джек кормил его великолепными кушаньями, расчесывал шерсть и менял ему костюмы – как правило, три раза в день, – но в остальном игнорировал.

Как-то раз, сидя в одиночестве, Голубой Котик заметил, что за огромным окном в гостиной простирается сад. С тех пор кот взял за привычку сидеть перед окном и жадно разглядывать деревья, цветы, бабочек и птиц, бесконечно кружащих по небу. Тогда он был почти счастлив.

Он столько часов проводил перед окном, что привлек внимание великого повелителя кошек, считавшего себя властелином сада.

И вот однажды Котяра подскочил к окну и обратился к Голубому Котику:

– Что ты делаешь тут, так близко к моему саду? – поинтересовался он, и его угольно-черные глаза вспыхнули от возмущения.

Голубой Котик никогда еще не говорил с котами, поскольку знал только человеческий язык, так что поначалу не вполне разобрал, что говорит Котяра, но он был смышлен и вскоре догадался, чего хочет собеседник.

– Я – Голубой Котик, сэр, друг и спутник мадам Леноры, знаменитой дивы.

Котяра был почти так же сообразителен и сразу понял, что Голубой Котик говорит на человеческом языке.

– Ясно, – с легкой насмешкой произнес Котяра. – У тебя и в самом деле хорошие наряды, и ленты к тому же, и это ведь драгоценный камень у тебя в левом ухе?

Голубой Котик кивнул и с тоской взглянул на деревья, цветы, бабочек и стрекоз.

– Не хочешь ли прогуляться по моему саду? – сделал соблазнительное предложение Котяра.

– Мне запретили покидать эту комнату.

– Кто это запретил, позволь узнать? – с презрением спросил Котяра.

– Кронпринц.

Котяра продемонстрировал полное равнодушие к такому объяснению.

– Подумай, что ты теряешь, Голубой Котик. Взгляни вон туда, – Котяра указал лапой на дальнюю часть сада, где росли полевые цветы. – Ты вообще видал такую красоту? И ты собираешься сидеть взаперти в душной комнате, потому что

велел какой-то принц! Мы, кошки, знаем, что королям плевать на нас. К тому же принц отдал тебя мадам Леноре, а она не очень-то о тебе заботится, раз отправилась шляться по Константинополю, а тебя бросила.

Это замечание настолько огорчило Голубого Котика, что две огромные слезы навернулись на его ярко-голубые глаза.

– Послушай-ка, Голубок, – сказал Котяра, – пожалуй, я приду сюда завтра в десять утра и, может, к тому времени ты поразмыслишь и решишь посетить мой сад. Пока-пока.

Закончив эту речь, Котяра важно поднялся и удалился молча.

Ни о чем не мог думать Голубой Котик, только лишь о словах Котяры, и хотя он пытался поговорить с Джеком Морфеем, тот почти не обращал на него внимания. Джек лишь пунктуально приносил Котику еду и несколько раз в день менял ему наряды. (У него был утренний костюм, дневной и роскошный вечерний.)

Несчастный кот не сводил глаз с прекрасного сада весь день и весь вечер; когда же настала ночь, он не пошел в свою спальню и смотрел, как на востоке появляются звезды и ленивая красная луна встает над платанами.

Тут он решил, что примет приглашение Котяры и прогуляется с ним по саду.

Котяра, как и обещал, явился на следующий день ровно в десять.

– Ну, так что же ты решил? – спросил он кратко и бесцеремонно. – Пойдешь со мною в сад или нет?

– Я бы очень хотел, но ведь окно крепко заперто, – тревожно отозвался Голубой Котик.

– То, что заперто, всегда можно отпереть, – ответил Котяра и, навалившись своим изрядным ве-

сом на раму, распахнул окно настежь.

– Идешь? – бранчливо спросил он.

Голубой Котик оглядел свою комнату и бархатные подушки, на которых любил поваляться, а затем со вздохом последовал за Котярой в необъятный мир.

Котика потрясло дивное разнообразие сада. Он никогда еще не видел таких деревьев, кустов, переплетающихся лоз, бесчисленных бурундуков, соек и ворон.

– А за пределами сада, Голубой Котик, тебя ждут самые замечательные вещи! Почему ты хочешь жить в этом старом доме, загроможденном антикварной мебелью, безделушками и толстыми пыльными коврами – понять не могу.

Тут Котяра устроил для молодого котика подробную и обширную экскурсию, показывал ему различные породы деревьев, кустарников, плющей и цветов, привлек внимание к изобилию белок и наконец к крупным воронам, которые наблюдали за котами с исключительной подозрительностью. И всюду вокруг них крутились бабочки, стрекозы и крошечные щебечущие пташки.

– Прости, я на минутку, Голубой Котик, – сказал Котяра. – Вон там, возле тюльпанового дерева я вижу друга, который наверняка захочет с тобой познакомиться. Побудь здесь, пока я с ним поговорю.

Котяра помчался на задворки сада, где восседал, глядя на них, серый одноглазый котище с массивными челюстями и лапами.

Голубой Котик с изрядным смущением наблюдал за разговором двух крупных котов. Они частенько поглядывали в его сторону и ухмылялись.

И вдруг Голубой Котик услышал, как кто-то зовет его по имени. Взглянув на рододендрон, он

увидел хорошенького голубка, который к нему обращался:

– Голубой Котик, ради собственного блага немедленно возвращайся в дом мадам Леноры. Скверных друзей ты нашел – Котяру и его одноглазого друга. Оба – подлецы и изрядно тебе напакостят, если не будешь осторожен. Попомни мои слова.

И голубок улетел на крышу соседней церкви, где его поджидала подружка.

Голубой Котик был так напуган предостережением голубка, что рванулся к дому мадам Леноры, но окно было заперто и закрыто тяжелыми ставнями: пути назад не было.

Тут суровый, хотя и мелодичный голос произнес:

– Так ты тот самый Голубой Котик, о котором мы столько слышали.

К несчастному коту обращался молодой человек, одетый точно на карнавал, в высокой шляпе и узорчатой жилетке, с кольцами почти на всех пальцах.

У Голубого Котика едва хватило сил произнести «да».

Котяра и Одноглазый тоже подошли и заговорили, но молодой человек строго приказал им умолкнуть и проваливать.

– Вы, бродячие коты, сделали свое дело, теперь шагом марш! – крикнул он.

Котяра и Одноглазый взвыли и замяукали, но тут юный фигляр (а это был он) швырнул им несколько пучков кошачьей мяты: коты жадно схватили ее и скрылись в кустах.

– Позволь представиться, – с этими словами молодой человек неожиданно подхватил Голубого Котика и уселся на скамейку, держа его на коле-

нях. – Зовут меня Кирби Джерихо, и я старинный друг твоей хозяйки, мадам Леноры. Случайно услышал, как те два бродячих кота разговаривали о тебе, а я понимаю кошачий язык, поскольку я в карнавальном и театральном бизнесе. И они меня к тебе привели. – Говоря это, Кирби нежно гладил Голубого Котика и осторожно трогал его за ухо.

– Думаю, ты не заметил, но Котяра стащил у тебя серьгу и ожерелье.

Удостоверившись, что так оно и есть, Голубой Котик всхлипнул.

– Мадам Ленора, – продолжал Кирби Джерихо, – задержалась в Константинополе. Тамошний юный властитель категорически отказывается отпускать ее еще целый месяц. Поскольку я – ее давнишний друг, предлагаю тебе остаться у меня, пока она не вернется. А я пока научу тебя выступать в театре Герберта из Старой Вены, который тоже раньше дружил с мадам Ленорой.

Голубой Котик был расстроен из-за того, что вернуться в квартиру мадам Леноры нельзя, а Котяра его ограбил; почти ничего из сказанного Кирби Джерихо он не понял, но неохотно согласился пойти со своим новым заступником – именно так отрекомендовался Джерихо.

Котика изрядно удивило, что за стеной сада их поджидает новехонький спортивный автомобиль.

– Садись, будь любезен, спереди, и мы поболтаем по дороге в мою студию, если ты не против, – предложил Джерихо.

Голубой Котик устроился рядом с Джерихо, и за пару минут они промчались по пустынным улицам в сторону Театра Водевиля и Танцев и к тому, что, как поневоле придется узнать Голубому Котику, будет его новой и совершенно иной жизнью.

Джерихо сбавил скорость, повернулся к коту и, сильно заикаясь, произнес:

– Голубой Котик, ты понимаешь, какие опасности поджидали тебя в саду Котяры?

Котик был так удручен и несчастен без мадам Леноры, что толком не разобрал слова Джерихо. И все же смог ответить:

– Ну, вроде бы да.

– А, по-моему, нет, – вздохнул Джерихо. – Но хочу сказать тебе вот что: мадам Ленора не очень-то о тебе заботилась, раз уехала и оставила тебя без присмотра. Нет, не перебивай, не защищай ее. Она ветреная женщина. Но, если ты поселишься со мной в театре, ты обретешь подлинный дом и, более того, профессию. Я научу тебя танцевать, выступать на сцене и играть на гитаре. Серьезное предложение, верно?

Голубой Котик кивнул, но, потрясенный известием, что мадам Ленора ветрена и бросила его, разрыдался.

– Ну ладно, ладно, – Джерихо принялся его утешать и дал ему платочек вытереть слезы. Он снова завел мотор, и вскоре они оказались на другом берегу реки в закоулках района, где обитали акробаты, танцоры, жонглеры и прочие артисты.

Театр, к которому они подкатили, сиял розовыми и фиолетовыми огнями, а над парадным входом переливалась огромная надпись:

ВАРЬЕТЕ И МЮЗИК-ХОЛЛ
ГЕРБЕРТА ИЗ СТАРОЙ ВЕНЫ

– Не огорчайся, что мое имя не горит огнями, – сказал Джерихо, помогая Голубому Котику вылезти из машины, – довольно скоро оно появится, ведь Герберт собирается на покой. Кстати, ты знал, что мадам Ленора дебютировала в этом

самом варьете и мюзик-холле? Да, это так, и Герберт был ее маэстро. Они, разумеется, ссорились, мадам Ленора покинула его и потом стала знаменитой дивой.

Голубой Котик вытер слезы и, тяжело вздохнув, пошел за своим провожатым в Варьете и Мюзик-холл Герберта из Старой Вены.

Выступление мадам Леноры в Константинополе было сочтено потрясающим успехом – всеми, кроме самой певицы и ее импресарио, молодого человека из Милана, который с самого начала следил за ее карьерой.

– Чего-то не хватало, – призналось она ему как-то вечером, когда они сидели вдвоем в просторном номере отеля. – Не говори мне, что я была великолепна – я знаю, что это не так!

– Поправьте меня, если скажу что-то не то, – произнес импресарио, – но, мадам Ленора, как это ни странно, вы тоскуете по Голубому Котику. Когда вы оказались вдали от него, что-то исчезло из вашего голоса.

Мадам Ленора печально согласилась.

– До чего же вы проницательны, дорогой друг. Я не только тоскую по нему, я вижу ужасные сны, и у меня предчувствие, что с ним что-то стряслось.

– Уверен, что все в порядке, – ответил импресарио, – ведь вы оставили его в компании самого верного слуги. Так что на этот счет не волнуйтесь. Просто вы тоскуете по дому, а ностальгия – одна из величайших людских печалей.

Мадам Ленора попыталась приободриться, но на следующий вечер заметила, что, несмотря на бурные овации, в ее голосе не было былой уверенности и силы. Она поняла, что сильно любит Голубого Котика и быть счастлива без него не может.

После ее выступления в тот вечер сцена была завалена сотнями огромных букетов и цветочных гирлянд, но их аромат и красота не смогли тронуть сердце певицы, и слезы беспрерывно текли из ее глаз.

Всю обратную дорогу на корабле она думала только лишь о Голубом Котике и его потрясающем даре говорить на ее собственном языке.

– Как только я взгляну на него, – сказала она импресарио, – бремя упадет с моего сердца и тогда, вы увидите, мой голос вновь обретет прежний тембр и силу.

На следующий день, когда они прибыли домой, мадам Ленора с пылким предчувствием распахнула дверь и позвала кота.

Немедленно появился юный помощник. Стоило мадам Леноре взглянуть на его обеспокоенное лицо, как воскресли ее худшие подозрения.

– Что стряслось? – вопросила она дрожащим слабым голосом.

– Мадам Ленора, – начал помощник, помогая ей снять пальто, – произошла большая неприятность.

– Голубой Котик?

Помощник кинул.

– Котик исчез, – пояснил он. – Мы всячески пытались его разыскать, но он не оставил никаких следов, кроме шарфика, который иногда носил на шее. Мы нашли его в саду, – и помощник продемонстрировал шарфик того же цвета, что и глаза кота.

Мадам Ленора рухнула в кресло, закрыла лицо руками и затряслась в удушающих рыданиях.

Гнетущие страхи и подозрения терзали рассудок мадам Леноры. Осознав, что Голубой Котик

исчез, не оставив ни малейшего намека на свое местонахождение, великая певица не покидала постели, отказывалась есть, жила только на воде со льдом и изредка выпивала бокал шампанского. За две недели она так сильно потеряла в весе и так ослабела, что почти не могла подняться со своей кровати под балдахином. Она отменила все выступления к раздражению и величайшему разочарованию великого Гатти-Касаззы, директора оперного театра.

Несмотря на возражения импресарио и друзей, она наняла немало всемирно знаменитых сыщиков. Только невероятные суммы денег, которые предлагала певица, вынуждали сыщиков согласиться на поиски кота; их не воодушевляло даже то, что кот был подарком кронпринца.

Один сыщик, который выслушал ее рассказ, был более человечным и великодушным, чем его коллеги, которые просто брали у певицы большие суммы и не предъявляли никаких достижений.

Этот сыщик по имени Нелло Гамбини терпеливо слушал, пока мадам Ленора изливала ему все свои горести, попутно поведав несколько фактов, которые ей удалось собрать о последних днях Голубого Котика.

– Вам следует, моя дорогая госпожа, – сказал, в конце концов, Нелло Гамбини, – обратиться не к сыщику, а к ясновидящей.

– Ясновидящей! – воскликнула мадам Ленора и впервые за все эти дни села в постели. – Думаю, сеньор Гамбини, вы абсолютно правы, но… – тут ее голос дрогнул, – где же на свете я отыщу такую ясновидящую, что была бы не бесчестной и алчной?

– Ах, есть одна, но лишь одна-единственная. Сложность однако в том, – произнес сеньор Гамби-

ни, принимая чашку кофе, – сложность в том, что сеньора Клеандра больше никого не принимает.

– Тогда к чему вы называете ее имя? – измученная певица вновь разрыдалась.

– Послушайте, дорогая мадам, – принялся утешать ее сеньор Гамбини, – если сослаться на меня, она вас примет, ведь однажды я разыскал ее пропавшее брильянтовое колье.

Мадам Ленора улыбнулась.

Знаменитый сыщик вручил ей карточку с именем и адресом ясновидящей. Вставая, он тщательно вытер рот полотняной салфеткой и произнес:

– Непременно скажите ей, что я настаиваю на этой встрече, и она наверняка вам не откажет.

Мадам Ленора была слишком больна и слаба, чтобы посещать сеньору Клеандру, и только после того, как она подчеркнула, что речь идет о жизни или смерти, престарелая прорицательница согласилась навестить певицу, хотя, как заметила сеньора Клеандра по телефону, она покидает свой дом с большой неохотой.

Появление сеньоры Клеандры было ошеломительным. Ясновидящая была почти семь футов ростом, пальцы унизаны драгоценностями, и от нее исходил сильный аромат трав. Кроме того, она так сильно закуталась с головы до пят, что глаза были почти не видны. Она объявила, что готова отведать только сырую луковицу, но, недолго пожевав ее, передумала и сказала, что выпьет чашку мясного бульона.

– А теперь, дорогая мадам Ленора, скажите мне, что за столь дорогой вам человек исчез, и я попытаюсь его отыскать.

– Вы сказали «человек», дорогая сеньора, и это правда. И все же должна вам сообщить, что дорогое мне существо, отсутствие которого приковало

меня к смертному одру, это кот…

Сеньора Клеандра, услышав, кто исчез, поднялась во весь свой семифутовый рост, душераздирающе вскрикнула и принялась чертыхаться.

– Прошу вас, садитесь, – взмолилась мадам Ленора.

– Вы заманили меня сюда, чтобы я искала кота, – кричала ясновидящая. – Вы что, не понимаете, какое это оскорбление для меня, сеньоры Клеандры, которая консультирует только коронованных особ. Кот! Ну и ну!

– Любезная сеньора, выслушайте меня, – дрожа, прошептала мадам Ленора. – Хотя он и вправду обладал кошачьим телом, он был не котом, а юным принцем – в этом у меня нет сомнений. Он говорил на аристократическом языке, а не мяукал, как обычный кот. И он любил меня, и я любила его. Если он не вернется ко мне, я умру.

– В доме есть спиртное? – спросила сеньора Клеандра одного из слуг. – Коньяк, быть может, – добавила она.

Слуга немедля принес ясновидящей наперсток лучшего бренди. Просмаковав напиток, сеньора Клеандра откинула вуаль и, пристально глядя на мадам Ленору, сказала:

– Если это не кот, а, как вы говорите, принц, я могу оказать вам услугу. Но прежде мне необходим предмет, который исчезнувший часто трогал – полагаю, речь идет о чем-то, что он держал в своей лапе.

– Принесите сеньоре бархатные штанишки Голубого Котика, – распорядилась мадам Ленора. Впервые за неделю она поднялась и, превозмогая боль, дошла до самого большого кресла в комнате.

Мадам Ленора собиралась сообщить сеньоре

Клеандре дополнительные сведения о своем исчезнувшем друге, но ясновидящая впала в глубокий транс: ее голова склонилась набок, вуали сползли с лица, и стало видно, что ее подбородок и верхняя губа покрыты густыми волосами.

Ясновидящая заговорила не своим голосом:

– Твой возлюбленный Голубой Котик – узник, дорогая госпожа, пресловутого дрессировщика и мима Герберта из Старой Вены. Голубой Котик был передан Герберту печально известным негодяем Кирби Джерихо, и твой дражайший кот вынужден каждый вечер появляться на сцене, играть на гитаре, плясать и кувыркаться.

Тут сеньора Клеандра открыла глаза и поправила вуали, так что борода исчезла. Ясновидящая грозно взглянула на мадам Ленору.

– В течение двух недель вы должны питаться только сырой говядиной, – посоветовала она певице.

– Но где, дорогая сеньора, я отыщу Герберта из Старой Вены? – спросила та.

– Вы – певица и никогда не слышали о Герберте из Старой Вены? Тогда я вам сочувствую.

Сеньора Клеандра быстро написала адрес шоумена и передала его огорошенной мадам Леноре.

– Сколько я вам должна? – поинтересовалась мадам Ленора, после того как взяла себя в руки и несколько раз прочитала адрес Герберта из Старой Вены.

Ясновидящая уже направлялась у двери. Обернувшись, она произнесла низким баритоном:

– Должны? Да в своем ли вы уме? Ни гроша. Думаете, я стану брать деньги за поиски кота, будь он хоть замаскированным принцем, хоть гоблином? Сеньора Клеандра не берет денег за поиски животных.

Она распахнула дверь и вышла вон.

Несмотря на свою слабость, мадам Ленора последовала за ясновидящей с криком:

– Вы заслужили вознаграждение, дорогая госпожа. Прошу вас, вернитесь и примите любой дар, какой вам придется по душе.

Но было поздно. Тяжелая входная дверь захлопнулась за гостьей, и поток холодного воздуха ворвался с улицы, заставив мадам Ленору кашлять и чихать.

Слова сеньоры Клеандры о том, что Голубого Котика можно найти у Герберта из Старой Вены, воодушевили мадам Ленору, но и причинили ей глубокую боль. Теперь она вспомнила, что много лет назад училась в Студии Чревовещания и Варьете Герберта из Старой Вены, как это называлось в ту пору. Герберт был очень доволен ею, в те давние времена она была его любимой ученицей. Но они поссорились, потому что Герберт, который некогда был очень известен в Вене, сделал мадам Леноре предложение – она ответила отказом, и в результате он стал ее злейшим врагом. Она поняла, что будет очень трудно вернуться в студию Чревовещания и Варьете, особенно ради того, чтобы умолять о возвращении Голубого Котика. Но теперь мадам Ленора не сомневалась, что, если она не найдет кота, выздороветь и вернуться на сцену ей уже не удастся.

Сеньора Клеандра предупредила Герберта из Старой Вены, что мадам Ленора собирается придти в его студию и забрать Голубого Котика.

Хотя певица изрядно изменила внешность в тот вечер, когда она отправилась в Варьете, она знала, что Герберт, который тоже был ясновидящим, сразу опознает ее, даже если она предстанет в виде швабры.

И все же, собравшись с силами, она смело вошла в маленький театр и села на видное место недалеко от сцены.

Молодой человек в лимонном трико, казалось, жонглировал сотней разноцветных шаров, но, разумеется, это умелая постановка света размножала один шар. Было легко поверить, что юноша швыряет в небо бесчисленные шары и легко их ловит, точно дрессированный морской котик.

В конце выступления он поклонился мадам Леноре и послал ей несколько воздушных поцелуев.

Затем появилась девочка, наряженная русалкой: благодаря ловкости Герберта, настроившего свет, казалось, что она плывет по чудесному зеленому морю. Она тоже узнала мадам Ленору и низко поклонилась ей после выступления.

С громким гиком на сцену выскочил Джузеппе Феллорини, силач из труппы Герберта. Мускулистыми руками он поднимал один тяжелый предмет за другим, в том числе что-то вроде рояля и Толстуху, которая, говорят, весила пятьсот фунтов. Он слишком гордился своей силой, чтобы кланяться мадам Леноре, и почти не смотрел на певицу, но вместо этого послал воздушные поцелуи бешено рукоплещущей публике.

Тут приглушили огни, и зазвучали виолончель и арфа – нежные, чуть печальные. Догадавшись, что сейчас появится ее «принц», мадам Ленора потянулась за флаконом с нюхательной солью, чтобы не лишиться чувств.

Голубой Котик в костюмчике, усыпанном жемчужинами и брильянтами, вышел на сцену с гитарой. Не заметив мадам Ленору, он начал перебирать струны и запел знаменитые слова:

В твоем садике душистом
Потерялся я навек,
Твое яркое окошко
Затворилось предо мной
Ты ушла, и я пропал.

Тут лапы Голубого Котика задрожали, голос сорвался. Он узнал мадам Ленору. Поднявшись с сияющего серебряного стульчика, он воскликнул:

– Мадам Ленора, неужели это вы? Скажите мне, что глаза меня не обманывают.

Мадам Ленора не могла себя сдержать. Она вскочила и бросилась к сцене. Кот и певица обнялись и разрыдались.

– Ты должен немедленно отправиться со мной домой, дорогой Котик, – мадам Леноре с трудом удалось выговорить эти слова.

Но в этот момент они услышали ужасающий голос такой силы, что люстры маленького театра дрогнули и закачались.

– Вы ничего подобного не сделаете, мадам Ленора – ведь это вы, верно? Уберите руки от моего звездного исполнителя, а ты, Голубой Котик, марш в свою гримерку!

Разумеется, это был Герберт из Старой Вены.

– Как ты посмела прерывать представление! – завопил он.

Мадам Ленора не могла припомнить, чтобы он когда-нибудь был так взбешен. Но и она больше не была раболепной ученицей в студии Герберта.

Мадам Ленора чуть было не плюнула на великого чревовещателя, завопив:

– Голубой Котик мой, а не твой. Это подарок кронпринца, и у тебя на него нет никаких прав.

– Если посмеешь притронуться к этому коту, – громче прежнего заорал Герберт, – вас обоих по

моему приказу арестуют и сошлют на Остров. Ты в моем театре, и посему тебя по-прежнему могут обвинить в том, что ты сбежала от меня много лет назад и задолжала мне тысячи фунтов стерлингов и золотых гиней. Тебя посадят в тюрьму, и ты будешь сидеть там, пока не рассыплешься в прах!

– Посадить в тюрьму? Ты ничего подобного не сможешь сделать, ты, жалкий фигляр! – крикнула мадам Ленора.

Мадам Ленора жила в опасном городе и всегда носила с собой пистолет с перламутровой рукояткой. И теперь она извлекла этот пистолет из складок платья.

Герберт до полубезумия боялся огнестрельного оружия, потому что и третья, и четвертая его жены стреляли в него и серьезно ранили.

Когда он увидел, что мадам Ленора направляет на него пистолет, он упал на колени и совсем не по-мужски принялся причитать.

Не спуская с него пистолета, мадам Ленора попятилась назад, выбралась за кулисы и вошла в гримерную. Она увидела, что Голубой Котик спрятался под пианино. Заслышав голос певицы, кот кинулся к ней в объятья.

Они поспешили в служебную часть театра и выбежали через дверь, за которой по счастливому совпадению стояла карета, дожидавшаяся Силача. Они запрыгнули внутрь. Поскольку мадам Ленора по-прежнему сжимала пистолет с перламутровой рукояткой, кучер не посмел прекословить, и они покатили к роскошному обиталищу певицы.

Герберт сумел отчасти побороть страх и помчался за ними, но тут мадам Ленора пальнула в воздух, и, услышав выстрел, прохиндей замертво свалился на мостовую, уверенный, что в него попали.

Карета умчалась прочь и через несколько минут подкатила к резиденции примадонны.

Утомленного испытаниями Голубого Котика не было нужды уговаривать расположиться на удобном месте в просторной постели мадам Леноры, однако о сне не могло быть и речи. Да и певице не терпелось услышать рассказ о злоключениях кота.

Но прежде чем он начал, новые слуги (мадам Ленора рассчитала всю прежнюю прислугу, обвинив ее в пренебрежении безопасностью и нуждами Голубого Котика) принесли его любимый десерт – засахаренные креветки по-креольски с клубникой в коньяке и анисовым кремом.

Только он начал лакомиться, как все двери залы распахнулись, и вошел кронпринц, прослышавший о спасении кота.

Принц был обрадован не меньше, чем его подруга-певица, и от избытка счастливой признательности они бросились друг другу в объятья.

– Котик только что начал рассказывать мне, как он потерялся, – сообщила мадам Ленора принцу.

– Я позабыл, ваша светлость, обратился Голубой Котик к Его величеству, – что мне воспрещено разговаривать с обычными кошками.

– И судя по тому, что я слышал, – подхватил принц, – вряд ли можно было выбрать худших собеседников, чем пресловутый Котяра и его сообщник Одноглазый, которые, могу с радостью сообщить, теперь до конца своих дней отправлены в тюрьму.

Голубой Котик не смог сдержать улыбку.

– После того, как Котяра украл мою серьгу, меня спас молодой театральный агент, которого Герберт из Старой Вены послал искать многообещающие таланты.

– Еще бы не знать этого агента, – негодующе заметил принц. – Кирби Джерихо – вот как его зовут.

Голубой Котик кивнул:

– Он привез меня в свой тренировочный зал, – продолжал кот, – и шесть недель я был его пленником, пока он наставлял меня и обучал искусству игры на гитаре, элоквенции и танцам в мягкой обуви, а затем передал Герберту из Старой Вены.

Принц не мог сдержаться и прерывал эту повесть криками возмущения.

Мадам Ленора поеживалась от мысли, что ее возлюбленный кот так страдал в ее отсутствие.

Хотя трагические приключения доставили Голубому Котику немало страданий, и мадам Ленора, и принц признали, что испытания, выпавшие на долю кота, только прибавили ему авторитетности и обаяния; более того, он приобрел почти неистощимый репертуар.

– Прежде, дорогой Котик, – так высказался принц, – ты был превосходным товарищем и безукоризненным наперсником, но после тренировки порочного, но великолепного Герберта из Старой Вены и Кирби Джерихо, ты не имеешь равных во всем мире.

Засим принц встал и скрестил руки на груди.

– Я хочу пригласить вас, мадам Ленора и Голубой Котик, в кругосветное плавание, которое начинается завтра в полдень. Примете ли вы мое приглашение?

Ожидая их ответа, принц добавил:

– Думаю, вам обоим необходим долгий отпуск, а этот круиз продлится семнадцать месяцев.

Мадам Ленора обратила взор к любимому коту.

Голубой Котик, охваченный восторгом при мысли о кругосветном путешествии с королев-

ским покровителем и величайшей певицей на свете, закивал, принимая предложение.

Пока длилось это плавание по морям, все трое стали неразлучными друзьями. И почти каждый вечер, по велению принца, Голубой Котик развлекал всех рассказами о своих похождениях, перемежая их игрой на гитаре, пением и танцами в мягкой обуви. Его повесть чуть менялась от вечера к вечеру, в истории появлялись новые детали, дополнения, не рассказанные ранее, и это так развлекало принца и мадам Ленору, что в пути они не скучали ни минуты. Они стали знаменитым трио, славным на долгие времена.

ENCORE[1]

– Он каждый вечер пропадает в греческом ресторане. Я думала, ты об этом знаешь, – сказала Мерта брату.

– Что он там делает? – с усталой заботливостью спросил Спенс.

– Я не хожу по греческим ресторанам и не шпионю за ним.

– Тогда почему ты уверена, что он пропадает там каждый вечер?

– Как я могу быть уверена? Его не любят в колледже. Он говорит, что ему нравится беседовать о живописи со Спиро – сыном владельца ресторана. Я не знаю, чем они там занимаются!

– Ну так и не говори, если не знаешь, – сказал брат. Он встал и взял шляпу, намереваясь уйти.

– Разумеется, – в волнении продолжала она, шагнув навстречу, чтобы его задержать, – в этом виноват не только Спиро, понимаешь? С Гиббсом тоже что-то не так. Я же сказала, его не любят в колледже. Его не пригласили вступить в братство, понимаешь? И, наверное, ресторан это компенсирует. Его двери открыты круглые сутки.

---

1 Бис *(фр.)*

– Возможно, тебе следует обустроить дом, чтобы он мог приводить друзей? – как-то холодно и невыразительно произнес Спенс.

– Скажешь еще, – возразила она почти бесстрастно. – Наверное, ты совсем не представляешь себе этот дом. Не дом, а квартира, да и я – незамужняя женщина.

– Знаю, Мерта, знаю. Ты все сделала сама. Никто и пальцем не пошевелил, – казалось, при этих словах он стряхнул с себя усталость и посмотрел на нее с искренним сочувствием.

– Я не пытаюсь тебя разжалобить. Просто хотела рассказать кому-нибудь о том, что происходит в «Спиро». Мне нужно было с кем-то поговорить.

– По-моему, «Спиро» – идеальное для него место, – сказал Спенс.

– А как же эти ужасные отец и дед Спиро? – закричала она, словно заметив издалека что-то страшное и омерзительное.

– Мацукасы? – Спенс удивился ее горячности.

– Да, Мацукасы! С большущими глазами и черными бородами! Старый господин Мацукас, дед, как-то вечером пришел сюда и нахамил мне.

– Не верю, – сказал Спенс.

– Ты хочешь сказать, я выдумываю? – упрекнула она брата.

– Нет-нет, просто не могу себе представить.

– И вот теперь, – вернулась она к животрепещущей теме, – Гиббс сидит там все время, как у себя дома.

– Ты говорила об этом с ним, Мерта?

– Я не могу. Нельзя же его пилить: не ходи вечером в греческий ресторан. Вероятно, для него это – шикарная другая жизнь. Совершенно иная. Старик запретил устанавливать музыкальные автоматы, телевизор и тому подобное, а Гиббсу ведь

нравится все забавное и оригинальное. Но там нет ничего забавного или оригинального, хотя, возможно, Спиро… Туда не ходит никто из студенческой братии, Гиббс защищен там от их нападок и может спокойно пить кофе.

– Какая скучища – пить кофе в паршивой греческой забегаловке! Не понимаю, почему мать должна волноваться, что туда ходит ее сын, да еще и поднимать меня из постели, чтобы поговорить об этом!

– Ах, Спенс, – назойливо продолжала она, – он не должен туда ходить. Неужели ты не понимаешь? Ему нельзя там находиться.

– Абсолютно ничего не понимаю, – возразил Спенс. – И я попросил бы тебя, Мерта, больше не вызывать меня в столь поздний час, чтобы поговорить о своем сыне, ведь он уже почти взрослый человек. В конце концов, у меня есть еще и работа…

Она уставилась на него.

– Мне нужно было поговорить с кем-нибудь о Спиро.

– Так вот о ком ты хотела поговорить – о Спиро, – сказал Спенс с растущим раздражением в голосе.

– Спиро, – неуверенно проговорила она, будто о нем напомнил сам Спенс, – меня никогда особо не интересовал этот молодой человек.

– Почему? – Спенс решил переключить ее внимание на неопределенный и косвенный вопрос, полагая, что именно таков ее тип мышления.

– Ну, Спиро рисует все эти странные штуки…

– Странные? – переспросил он. – А, по-моему, они вполне хороши.

– Не нравится мне этот Спиро, – сказала она.

– Почему же ты не пригласишь его, если он нравится твоему сыну? – брат переложил всю ответственность на нее.

– Когда целый день вкалываешь на фабрике, Спенс…

– Тебе лишь бы на фабрике вкалывать, – раздраженно отрезал он.

– Я надеялась, родной брат проявит ко мне больше чуткости, – ответила она с холодной яростью.

– А ты – к Гиббсу.

– Спенс, прошу тебя.

– Пустое. Вечно у тебя какие-то проблемы, но ведь главная проблема, Мерта, в тебе. Ты старая, уставшая и недовольная женщина, но не можешь сказать об этом прямо. Ты решила, что с твоим сыном что-то не так, поскольку он ходит исключительно в греческий ресторан и беседует там со Спиро, который неплохо рисует и как раз сейчас пишет портрет твоего сына.

– Спенс! Не говори об этом!

– Дуреха ты старая, Мерта, – сказал он и снова надел шляпу. Ему показалось, что сестра посмотрела осуждающе и даже с некоторой завистью.

– Красивая шляпа, – наконец выдавила она.

– Врач обязан выглядеть подобающе, – ответил он и тут же поморщился от собственных слов. – Тебе нужно найти какое-то хобби, Мерта, – поспешил он сменить тему, – заняться дамским боулингом, вступить в старушечью команду по керлингу или сойтись с каким-нибудь джентльменом-ровесником. А сын пусть живет своей жизнью.

– Утешил, – сказала Мерта, сделав вид, будто нашла его совет остроумным.

– Спенс приходил? – кладя книги, спросил Гиббс.

Мерта подставила лицо для поцелуя, и сын чмокнул ее так, словно незаметно выплюнул семечко.

– Как дела у Спиро? – неожиданно поинтересовалась она громким, бодрым голосом, удивившим даже ее саму.

Сын взглянул на нее, точь-в-точь как в детстве, когда она внезапно врывалась в гостиную и спрашивала, чем он в такой тишине занимается.

– Спиро пишет мой портрет.

– Портрет? – переспросила Мерта, изо всех сил пытаясь подавить неодобрение в голосе.

– Именно, – произнес Гиббс, сел в дальней стороне комнаты и достал гармонику.

Мерта недовольно скривилась, но промолчала, и он заиграл «Луна взошла». Казалось, он всегда играет, когда ей нужно с ним поговорить.

– Хочешь, чтобы Спиро пришел к нам в гости?

– В гости?

– Ну, навестил нас, – она улыбнулась и зажмурилась.

– С какой это радости? – изумился он и, заметив ее мучительную гримасу, добавил: – В смысле, чего он тут не видел?

– Меня, – ответила она со смехом. – Я ведь такая красавица.

– Спиро думает, что ты его недолюбливаешь, – сказал Гиббс, она тотчас вскрикнула: «Чепуха!», но Гиббс продолжил: – На самом деле, он считает, что в этом городе его не любит никто.

– И то верно – кроме них, греков тут нет.

– Ну а мы, конечно, одна из первых семей в городе! – внезапно вспылил Гиббс.

– Твой дядя Спенс – человек влиятельный, – побелев и слегка разинув рот, начала она, но Гиббс перебил ее, снова заиграв на гармонике.

Мерта старалась держать себя в руках, но вдобавок раскалывалась голова.

– Хочешь земляничного джема? – спросила Мерта под звуки гармоники.

– Чего? – крикнул он.

– Земляничного джема, – повторила она в некотором смущении.

– Зачем? – Гиббс в нетерпении положил гармонику.

– Мне вдруг так захотелось, я пошла и приготовила. Он уже настоялся, можно есть.

В ее старом сером лице было столько отчаянья, что Гиббс согласился.

– А еще я сварила свежий кофе, – добавила она с неким жеманством, словно кофе здесь тоже диковина и экзотика.

– Я уже выпил, спасибо. Принеси только джема.

– Спиро всегда угощает тебя кофе? – спросила она с горечью, которая непроизвольно подступила, пока они стояли на кухне.

– Не знаю, – отрезал он.

– А я-то думала, вы каждый вечер видитесь, – сказала Мерта с напускной беспечностью.

– Я никогда не слежу, чем он угощает, – громко и равнодушно произнес Гиббс.

– Тебе большую или маленькую тарелку? – с нажимом спросила она.

– Маленькую, черт возьми.

– Гиббс! – вскрикнула она, но затем спохватилась: – Маленькую – так маленькую, дорогой.

– Ты что-то хочешь сказать, но постоянно себя одергиваешь! – рявкнул он и, забрав у нее тарелку джема, с грохотом поставил на покрытый клеенкой крошечный кухонный столик.

– Гиббс, только давай не ссориться, у мамы сегодня жутко болит голова.

– Ну, так ложись спать, – сказал он громовым голосом.

– Может, и лягу, – тихо ответила она, села и на-

чала есть джем прямо из миски. Она съела почти всю красную и тугую, как резина, пародию на земляничный джем, торопливыми глотками выпила кофе со сгущенкой.

– Спенс изводил меня весь вечер, – сказала она. – Твердил, что мне было бы веселее, найди я себе мужика!

Она рассмеялась, но Гиббс никак не отреагировал.

– Я знаю, что ничего не могу предложить мужчине. Нужно смотреть правде в глаза.

– Зачем ты так говоришь: «Нужно смотреть правде в глаза»? – оборвал ее Гиббс.

– Разве это неграмотно? – удивилась она и вынула ложку изо рта.

– Любой мудак может сказать: «Нужно смотреть правде в глаза».

– Зато ты у нас выражаешься очень культурно, – парировала она.

– Ага, нужно смотреть правде в глаза, – сказал он глуховато, достал из кармана гармонику, взглянул на нее и бесшумно положил на клеенку.

– Мне всегда хотелось, Гиббс, чтобы у тебя все было хорошо. Я старалась с самого твоего детства. Но без отца, и со всем этим…

– Ма, мы же сто тысяч раз обсуждали. Неужели нельзя забыть, что я рос без отца, а ты всю жизнь ишачила, чтобы наверстать упущенное?

– И то правда, давай все забудем. Господи, а я весь джем слопала, – весело сказала она.

– Ага, я заметил.

– Но я хочу жить только для тебя, – снова сказала она страстно, думая лишь о своих чувствах, и протянула к нему руку. – Ты – все, что у меня есть, Гиббс.

Он уставился на нее. Она плакала.

– Я не могла ничего тебе дать. Знаю, таких, как я, друзьям не показывают.

– Ма, черт возьми.

– Не ругайся, – перебила она. – Может, я и неграмотная, и по-английски говорю неправильно, но я не богохульница и тебя никогда этому не учила. Так-то вот, – она достала носовой платок и вытерла глаза, отчего они показались еще более старыми и уставшими.

– Ма, – он опять взял гармонику, – нет у меня никаких друзей.

– Нет? – усмехнувшись, переспросила она, а затем, перестав плакать и вникнув в смысл фразы, снова властно спросила: – Что значит «нет»?

– То и значит, ма. Нет у меня никаких друзей. Ну, может, Спиро.

– Ох уж этот гречонок. Опять к нему вернулись.

– А откуда им, по-твоему, взяться – друзьям-то?…

– Разве ты не ходишь в колледж, как все остальные? – выпалила она скороговоркой. – Неужто мы не стараемся, Гиббс?

– Не кипятись. Мне все равно, потому что друзей у меня нет. И я ничем тебя не попрекаю.

– Ты ходишь в колледж, и у тебя должны быть друзья. Разве не так?

– Слушай, черт возьми, ходить в колледж и заводить друзей – не одно и то же. Особенно для такого парня, как я…

– А что с тобой не так? Ты же симпатичный, красивый мальчик.

– Ма, черт…

– Немудрено, что этот грек тебя рисует. Ты ведь красавчик.

– Да не в том дело, – сказал он с тоской. – Спиро просто нужно кого-то нарисовать.

– Не понимаю, почему у тебя нет друзей. Ведь все при тебе: внешность, ум, ты можешь говорить и вести себя благородно, если захочешь…

– В этом колледже надо быть богатым. А родители должны быть…

– Так вот в чем дело? – она внезапно побелела и взглянула ему прямо в лицо.

– Ма, я не имел в виду тебя. Я сказал это вовсе не для того, чтоб тебе…

– Тихо, молчи.

– А может, все-таки лучше об этом поговорить, ма?

– Я ничего не в силах изменить. Что было, то было – прошлого не воротишь. Может, я и согрешила, перед тем как ты появился на свет, Гиббс…

– Ма, умоляю, речь не о тебе.

– Я стояла за тебя горой, Гиббс, – словно давая показания перед глухим судьей, тараторила она. – Ты не вправе этого отрицать.

Она уставилась на него, как полоумная.

– Хотелось бы мне посмотреть, как эти богатейки со своими жирными холеными муженьками делают ту же работу, что и я, – теперь она уже не могла остановиться: с губ сами собой слетали слова, обычно приберегаемые для долгих, бессонных, полных ненависти ночей.

Она быстро встала, будто собираясь выйти из комнаты.

– Ни мужа, ни отца во всем доме! Хотела бы я посмотреть, что бы они делали на моем месте. Да будь они прокляты!

Побледнев так же, как она, и съежившись, Гиббс выжидал.

– Будьте вы прокляты! – кричала она. – Прокляты!

Она села и разрыдалась.

– Если у тебя нет друзей, мне нечем помочь, – подавив последнюю вспышку гнева, сказала Мерта. – Нечем.

– Ма.

Ему тоже хотелось расплакаться, но внутри что-то каменное, горькое и непреклонное удерживало от слез. Часто по ночам, когда он лежал в кровати, зная, что в соседней комнате не смыкает глаз Мерта, хотелось встать, подойти к ней и вместе поплакать, но он так и не решился.

– Может, что-нибудь поменять в доме? – вдруг спросила она, утирая слезы, грудь вздымалась от нового их прилива. – Все, что смогу, я сделаю.

– Ма, – сказал он и встал, гармоника упала на линолеум.

– Ты уронил свою… игрушечку, – она поджала губы.

– Да не игрушка это, – начал он. – На таких даже профессионалы играют на сцене… Да и вообще.

– Ясно, – подхватила она, пытаясь унять бурю, которая могла разразиться в душе и, сметая все на своем пути, бушевала бы уже до самой смерти.

– Сыграй что-нибудь, Гиббс, голубчик, – взмолилась она.

Он хотел спросить, как она себя чувствует.

– Играй, играй, – в отчаянии твердила мать.

– Что тебе сыграть, ма? – он смертельно побледнел.

– Просто сыграй, что тебе нравится.

Тогда он начал «Луна взошла», но слишком уж дрожали губы.

– Играй, – она стала отбивать такт руками со вздувшимися венами, без колец и украшений.

Он смотрел на ее руки, прижимая губы к крошечным истертым отверстиям гармоники, которую назвал «профессиональным инструментом».

– Забавная мелодия, – сказала Мерта. – Никогда раньше не слышала. Как, ты сказал, называется?

– Ма, умоляю!

Он протянул руку.

– Не сейчас, – приказала она. – Просто играй. Играй.

Перл Миранда вышла в чем мать родила из классной комнаты в Школе Джорджа Вашингтона, где преподавала в восьмом, спустилась по Локаст-стрит, подождала, пока машины, остановившись на красный свет, снова тронутся, а затем поспешила, насколько позволял ей собственный вес, по Смит-авеню.

Она выждала под еще голой катальпой, пока на другой стороне улицы пройдут несколько мужчин. Было довольно темно, но Перл опасалась, что ее все равно заметят.

Затем, снова направившись по Смит-авеню, промчалась мимо девочки, которая ее окликнула, хоть и не узнала.

В конце концов, свернула к дому Уинстона Крамера, который давал фортепьянные уроки для начинающих, она преподавала ему в восьмом классе почти двадцать лет назад.

Позвонила в дверь.

В венецианское окно увидела Уинстона: он сидел в мягком кресле и делал себе маникюр.

Она все звонила и звонила, но он так и не сдвинулся с места.

Через дорогу какая-то женщина вышла на крыльцо и стала наблюдать.

Тогда Перл постучала в дверь и тихо позвала Уинстона. Она увидела, как тот с сердитым видом встал.

– Я же отказался от подписки, – услышала его раздраженный, резкий голос. – Не нужны мне ваши «Вести»…

Он заметил Перл и остановился, глядя на нее из-за стеклянной двери. Затем осторожно открыл.

– Мисс Миранда?

– Впусти, ради бога. Открывай, не бойся.

Женщина через дорогу по-прежнему стояла на крыльце и смотрела на дом Крамера.

– Мисс Миранда, – повторил Уинстон, когда она вошла внутрь.

– Принеси купальный халат или что-нибудь, Уинстон. Ради бога, – испепеляющий взгляд.

Уинстон постоял с минуту, пытаясь смотреть только в лицо.

Затем что-то промямлил и отправился наверх, лопоча на ходу.

Перл Миранда опустила жалюзи на венецианском окне, и заметив, что на маленьком боковом жалюзи подняты, опустила их тоже. Затем взяла музыкальный альбом и прикрылась им.

– Боже правый, – сказал Уинстон, протянув ей купальный халат.

Она надела его с некоторым трудом, но Уинстон ей не помог. Она села.

– Что вам принести? – спросил он.

– Обычно в таких случаях подают бренди, – ответила Миранда. – В случаях обнажения, – речь ее, как всегда, была грамотной, точной и образованной. – Но думаю, ты помнишь, как я отношусь к спиртному.

– Я тоже не пью, мисс Миранда.

– Горячее молоко будет в самый раз, – теперь она, казалось, говорила снисходительно. – Только бы не простудиться. – Взглянув на свои босые ступни, она поинтересовалась: – У тебя случайно нет домашних тапочек?

– Остались мамины.

Едва она собралась сказать: «Подойдут», как он уже помчался по ступенькам наверх.

Вернувшись, Уинстон стал вести себя чуть непринужденнее и помог ей обуть щекочущие домашние тапочки, отороченные кроличьим мехом.

– Что случилось? – спросил он в коленопреклоненной позе, подняв на нее глаза.

– Для начала дай мне горячего молока.

Он направился в кухню, но затем, обернувшись, спросил:

– Мисс Миранда, с вами действительно все в порядке?

Она кивнула.

– Может, вызвать врача?

Она энергично покачала головой.

Он вернулся в комнату, левая ладонь медленно скользила по горлу.

– На вас напали? – спросил он.

– Нет, Уинстон. А теперь принеси мне, пожалуйста, молока, – она говорила с ним точно так же, как двадцать лет назад в классе.

Пока он был на кухне, мисс Миранда погрузилась в теплый, мягкий уют купального халата и тапочек. Она слышала, как Уинстон бормочет себе под нос, нагревая молоко. Наверное, все одинокие люди разговаривают с собой – она и сама никак не могла отучиться от этой прискорбной привычки.

В ожидании мисс Миранда посмотрела на фортепьяно «Болдуин», заваленное учебниками Черни[1]. На табурете высилась еще одна стопка нот.

Мисс Миранда огорчилась, представив, как Уинстон зарабатывает на жизнь, целый день, а то и часть вечера слушая бездарных детей, разучивающих гаммы. Не мужская это профессия.

Потом она вспомнила сетования сестры, что и сама Перл вынуждена преподавать в восьмом классе.

– Я дрожу еще больше, чем в ту минуту, когда вы вошли, – еле слышно промямлил Уинстон, внося небольшой мексиканский поднос с дымящейся кружкой молока и чашкой.

– Прелестно, – сказала Миранда.

– Сейчас схожу за салфеткой, – он вновь исчез из комнаты.

– Не беспокойся, – крикнула она вдогонку, хоть и не очень громко: салфетка и впрямь не помешала бы.

Попивая горячее молоко, мисс Миранда чуть икала.

Уинстон убрал с фортепьянного табурета нотные тетради, сел и стал за ней наблюдать.

– Может, щепоть корицы? – он показал на чашку.

Мисс Миранда покачала головой.

– Всего пару часов назад я вынул из духовки пирог, – сообщил он. – Не хотите кусочек?

– С чем он, Уинстон?

– С красной малиной. Свежей.

Она секунду изучала его лицо.

– Ладно, – сказала мисс Миранда, словно по-

---

1 Карл Черни (1791—1857) – австрийский композитор, педагог и пианист. – Прим. перев.

советовавшись с третьей стороной. – Ты сам себе готовишь, Уинстон?

– Да, после смерти мамы. Но даже при ней я немного стряпал.

– Уверена, что ты – искусный кулинар, Уинстон. Ты всегда был способным мальчиком, – на последней фразе она понизила голос.

– Я ведь не разговаривал с вами с восьмого класса, – довольно громко напомнил Уинстон.

– Думаю, да, – мисс Миранда отпила еще молока. – То, что надо.

– Хотите еще чашку?

– Не откажусь.

Он взял поднос с посудой и вышел на кухню.

После его ухода мисс Миранда что-то пробормотала, схватилась руками за голову и вдруг вскрикнула, точно от боли:

– Боже!

Затем ее лицо расправилось, она успокоилась и сложила руки на халате.

По возвращении Уинстон протянул ей еще одну чашку молока, она поблагодарила.

– Вы не ранены, мисс Миранда? – вновь спросил он испуганно.

– Надо мной просто подшутили, Уинстон, – она взглянула на него широко открытыми глазами.

Но было заметно, что мисс Миранда говорит неправду, и, когда она отвернулась, Уинстон с грустью и разочарованием уставился в пол. Затем он встал с фортепьянного табурета, направился к мягкому креслу и плюхнулся.

– Вы меня напугали, – он провел рукой по груди.

– Только никому не рассказывай.

– Может, все-таки вызвать полицию или кого-нибудь? – спросил Уинстон, и она заметила, как сильно он расстроен.

– Главное – успокойся. Разумеется, не надо никакой полиции. Уладим все сами.

– Вы сказали, это была шутка, мисс Миранда.

Она кивнула.

Наступила долгая пауза.

– Теперь пирог с малиной? – вяло спросил он.

Она аккуратно вытерла руки льняной салфеткой.

– Мог бы дать бумажную, Уинстон. Ты ведь и обстирываешь себя сам?

Он промямлил нечто вроде: «К сожалению, да».

– Принесу вам пирога, – и вышел из комнаты.

После довольно длительного отсутствия Уинстон принес большой кусок пирога с малиной на расписной тарелке.

– Как мило, – сказала мисс Миранда.

Она откусила и промычала от удовольствия: «Мммм».

– Мне хочется вам помочь, – почти проскулил он.

– Сядь, Уинстон, и помолчи. Лучше не сделать ничего, нежели совершить ошибку, – увещевала она.

– Но я же знаю, что вы не совершили никакой ошибки, – сказал Уинстон хнычущим голосом.

– Я все объясню, как только доем пирог. Но волноваться тут не о чем.

– Кто-нибудь видел, как вы сюда вошли?

Она пожевала пару секунд.

– Есть такое подозрение. Кто живет через дорогу? – она ткнула вилкой в сторону того дома.

– Только не Берта Уилсон, – вскрикнул Уинстон.

– На крыльцо вышла женщина. По-моему, она меня заметила. Разумеется, я знаю Берту Уилсон.

– О, черт, – Уинстон повысил голос и взглянул на нее почти укоризненно. – Все это так… *непривычно*, – воскликнул он, подразумевая какое-то словцо покрепче.

– Уинстон, ты должен сохранять спокойствие, – сказала мисс Миранда. – Я пришла сюда вынужденно, и ты это знаешь.

– Да я вас и не упрекаю, – к нему уже вернулось самообладание.

– Тогда давай успокоимся и возьмем себя в руки, – она передала ему тарелку из-под пирога. – Как красиво люди расписывают фарфор, – она показала на тарелку.

– Тетушка Лоис вручную расписала весь мамин.

Он вышел из комнаты с тарелкой, и на пару минут в доме воцарилась тишина. Затем мисс Миранда услышала шум воды на кухне и догадалась, что Уинстон моет посуду.

– Аккуратист, – сказала вслух.

Затем она покачала головой, хоть и вовсе не над его аккуратностью, и снова вскрикнула:

– Боже!

Примерно четверть часа спустя он вернулся в гостиную, сел, скрестив ноги, и сказал:

– Ну вот.

– Думаю, я даже не простужусь, – улыбнулась она.

Уинстон пристально посмотрел, и она ощутила неприязнь. На его лице появилось раздражение, он упрямо сжал рот.

– Мама давно умерла? – спросила мисс Миранда.

– В апреле будет два года, – ответил он безучастно.

Мисс Миранда покачала головой, развернула льняную салфетку и расстелила ее на коленях поверх купального халата.

– Надо мной сегодня подшутили, – сказала она и осеклась.

– Кто-нибудь видел, как вы переходили спортивную площадку?

– Спортивную площадку?

– Там очень мало деревьев – негде спрятаться, – пояснил он.

– Трудно сказать.

– Мисс Миранда, если вы… пострадали, я должен вызвать врача.

– Хочешь, чтобы я ушла? Тогда я уйду…

– Я не это имел в виду.

– Пожалуйста, успокойся, Уинстон, – взмолилась она.

– Я спокоен, мисс Миранда… Но, боже мой, нельзя же просто так сидеть и делать вид, будто с вами ничего не случилось… Это неслыханно!

Она сидела, пытаясь посмотреть на все его глазами. Ей даже некогда было об этом подумать.

– Я нисколько не пострадала, Уинстон, не считая того, что я голая. И я уже сказала, что, наверное, даже не простужусь.

– Я могу сходить к вам домой и принести одежду.

Она радостно кивнула и сказала:

– Завтра.

– Сегодня! – подчеркнул он.

– В шесть вечера в класс вошел молодой человек, похожий на одного из моих бывших учеников, – начала она свой рассказ. – Я как раз вытирала доску.

Уинстон взглянул на нее и побледнел.

– Он спросил, помню ли я его. Я ответила, что

нет, хотя лицо было знакомое… Потом он спросил, помню ли я Элис Роджерс. Разумеется, помню. Видишь ли, мы как раз исключили ее в прошлом семестре. Она влипла сама и втянула в это дело почти всех мальчишек из восьмого. Наверное, ты читал в газетах… Помнишь ту историю с Элис Роджерс? – спросила мисс Миранда.

Уинстон неуверенно кивнул.

– Этот парень, на вид ему было не больше двадцати… Максимум, твоего возраста, Уинстон… Он сказал: «Пришел черед расплатиться за Элис Роджерс – за ее погубленное имя и репутацию». «Я всего лишь хотела обеспечить для Элис Роджерс будущее», – сказала я. «В колонии для малолеток?» – мерзко ухмыльнулся он.

Мисс Миранда умолкла, возможно, рассчитывая на поддержку Уинстона, но он промолчал.

– Потом, – продолжила мисс Миранда, – он приказал мне раздеться. Понимаешь, у него был пистолет.

Уинстон встал и направился в соседнюю комнату.

– Ты куда? – крикнула мисс Миранда.

Он оглянулся, попросил прощения, затем вернулся и сел.

– Он сказал, что, если я не подчинюсь, он выстрелит, – произнесла она сухо.

Мисс Миранда смотрела на Уинстона, уверенная, что тот ее не слушает.

– Он забрал у меня всю одежду – даже обувь и ключи, а затем, пообещав, что я запомню Элис Роджерс на всю оставшуюся жизнь, ушел и бросил меня на произвол судьбы…

Уинстон снова уставился на ковер.

Голос мисс Миранды продолжал:

– Я позвала его из-за перил, крикнув вдогонку: «Как же я доберусь домой?»

Ее голос замер. Вдруг она схватилась руками за голову и закричала:

– О боже, боже!

– Вам больно? – Уинстон оторвал осоловелый взгляд от ковра.

– Нет, – быстро ответила она.

– Голова кружится, – сказал Уинстон.

– Я совершенно не помню этого молодого человека, – продолжила мисс Миранда. – Понимаешь, Уинстон, когда преподаешь столько лет и когда ты уже в таком возрасте, все молодые люди, как, впрочем, и все старые, кажутся на одно лицо.

– Мисс Миранда, можно, я кому-нибудь позвоню? Мы должны сообщить…

– Нет, – сказала она. – И слышать не желаю. А теперь, пожалуйста, успокойся и не расстраивайся из-за случившегося. Я хочу переночевать у тебя.

– Тот молодой человек, о котором вы рассказываете, он не причинил вам никакого вреда?

– Нет, – словно обороняясь, ответила мисс Миранда.

Она посмотрела на Уинстона.

Вдруг он почувствовал тошноту и выскочил из гостиной в комнатку рядом с кухней.

Видимо, Уинстон не успел прикрыть за собой дверь, и мисс Миранда услышала, как его вырвало.

– Ну и ну, – сказала она.

Войдя в туалет, она увидела, как он изо всех сил тужится над унитазом.

– Уинстон, давай я поддержу тебе голову, – предложила она, но он не шелохнулся.

Мисс Миранда взяла его за голову, и Уинстона вырвало снова.

После чего она сняла с вешалки чистое полотенце и вытерла ему рот.

– Я подцепил вирус, – объяснил Уинстон.

Он повернулся к унитазу, и его опять вырвало.

– Бедняжка, – мисс Миранда вновь вытерла ему рот полотенцем. – Теперь тебе лучше прилечь, – посоветовала она.

Он направился в смежную комнату с двуспальной кроватью и лег.

Она помогла ему снять обувь и прикрыла одеялом.

– Прости, что расстроила тебя, – извинилась она.

– Нет, мисс Миранда, это все вирус. Никак не вылечусь. Подхватываю от своих учеников – то от одного, то от другого.

– Просто лежи спокойно.

Едва он задремал, как она вновь воскликнула:

– Боже, боже!

Видимо, она тоже вздремнула в кресле подле двуспальной кровати и немного спустя резко очнулась, услышав, что он опять тужится в туалете. Мисс Миранда поспешила туда, чтобы поддержать ему голову.

– Уинстон, бедняжка, – сказала она, чувствуя, что его волосы взмокли от пота.

– Как вы могли смотреть, когда меня тошнило? – спросил он позже, после того как они вернулись в спальню.

– Я ведь тридцать лет преподаю в средней школе, – напомнила она.

– Мисс Миранда, – внезапно сказал он, – вас сегодня изнасиловали?

Она уставилась на него.

– Я должен вызвать врача, – он вытер рот.

– Меня не… изнасиловали, – возразила она.

Он взглянул на нее:

– Тот парень просто попросил вас раздеться?

Она кивнула.

– Из-за Элис Роджерс, – повторил он ее слова.

– Я свидетельствовала против Элис в суде, – добавила мисс Миранда, – и ее отправили в колонию для малолетних.

– Ну, это вы так рассказываете.

– Я не стала бы тебе лгать.

– Вам никто не поверит.

– Тебе нельзя так много разговаривать, Уинстон, – мисс Миранда заботилась о его здоровье.

Он промолчал.

– Вас видела Берта Уилсон из дома напротив, – сказал он сонно.

– Да, она смотрела в мою сторону, – призналась мисс Миранда.

– Значит, она вас видела.

– Но ведь было очень темно.

– У Берты не глаза, а рентген.

– Ну хорошо, она меня видела, – сказала мисс Миранда. – Но мне же надо было куда-то зайти.

– Все в порядке, – произнес Уинстон. – О нас-то с вами никто плохого не подумает.

– О боже! – вдруг вскрикнула мисс Миранда.

Уинстон приподнялся на локтях.

– Вы пострадали, мисс Миранда? Что-нибудь болит?

Она подавила рыдания.

– Мисс Миранда, – начал Уинстон. – Тот молодой человек, что вошел сегодня в ваш класс… Вы слушаете меня?.. Этот молодой человек – Фред Роджерс, старший брат Элис Роджерс.

Мисс Миранда сдавленно всхлипнула.

– Вы слышали, что я сказал, мисс Миранда?

Она кивнула.

– Старший брат Элис Роджерс, – повторил он. – Я хорошо его знаю. Послушайте, мисс Миранда, я

знаю, что он не мог просто раздеть вас догола и уйти. Или вы думаете, я совсем ничего не соображаю?

Она посмотрела на него в упор, и он отвел взгляд.

– Я хорошо знаю Фреда Роджерса, мисс Миранда, и понимаю, что он бы этим не ограничился. Он точит на вас зуб за то, что вы отправили его сестру в исправительную колонию.

– Мне уже почти шестьдесят, Уинстон, – сказала мисс Миранда из темного озерца своего кресла. – Если не возражаешь, давай закроем эту тему.

– Вам нужен врач.

Мисс Миранда опустила взгляд на длинный отворот купального халата.

– Да у вас кровь, – сказал Уинстон.

Он тут же завопил и скрючился на кровати от боли.

– Уинстон, господи.

– Видно, приступ аппендицита, – простонал он. – Ох-ох-ох, – и потрогал себя за живот.

– Значит, ты хочешь вызвать врача! – закричала мисс Миранда, словно он ее предал.

Он откинулся на спину и застонал. Его лицо позеленело, а затем пожелтело, словно вдруг осветилось прожектором.

– Боже правый! – воскликнула мисс Миранда.

– Сейчас полегчает, – сказал Уинстон и, превозмогая боль, ободряюще ей улыбнулся.

– Что мне делать? Что делать? – завопила она.

– Думаю, нам обоим нужен врач, – сказал Уинстон.

– Я не смогу рассказать ему, Уинстон… Мне шестьдесят.

– Теперь-то уж он заерзает, мисс Миранда.

– Ты знаешь Фреда Роджерса? – негромко вскрикнула она.

Уинстон кивнул.

– Но я же никогда у него не преподавала, – вздохнула она и вновь воскликнула: – Боже правый!

– Постарайтесь успокоиться, мисс Миранда.

Сам он казался теперь почти абсолютно спокойным.

– Может, приляжете? У вас кошмарный вид, – сказал он.

– Но мы же в безвыходном положении, Уинстон.

Она всплакнула.

Затем опустила голову на кровать и погладила Уистона по голове.

– Не знаю, сколько людей меня видели, – сказала она.

Уинстону полегчало, и он откинулся на спину. Боль отступила.

Словно по команде, мисс Миранда резко затряслась.

– Прилягте, – сказал Уинстон. – У вас озноб.

Он помог ей забраться под одеяло.

Когда положил ее голову на подушку, учительница вдруг завопила.

– Старайтесь лежать как можно спокойнее, мисс Миранда, – он помог ей укрыться.

Теперь она дрожала всем телом и вскрикивала:

– О боже! На седьмом десятке!

– Вам нужно хорошо выспаться, – уговаривал он.

– Боже правый. Господи!

– Утром врач поставит вас на ноги.

– Я никогда не смогу вернуться к детям в школу.

Уинстон погладил ее ладонь. Тошнота прошла, но в висках пульсировала сильная боль.

– Напомни, как зовут ту женщину из дома напротив? – уточнила мисс Миранда.

– Вы о Берте Уилсон?

Мисс Миранда кивнула.

– Я учила ее в восьмом классе – еще в 1930-м, подумать только!

– Я не хочу об этом думать, мисс Миранда.

– О чем – об этом?

– Ни о чем.

– Не верится, что все это случилось наяву, – призналась она Уинстону.

– Придет врач и поставит нас обоих на ноги.

– Не представляю, как я обращусь к врачу, вернусь в школу, и вообще, – заплакала она.

Мисс Миранда зарыдала, но немного спустя затихла.

– Спите, – сказал он.

Он хотел подняться наверх и лечь в бывшей маминой спальне, но не знал, хватит ли сил туда добраться. В конце концов, заполз обратно под одеяло к мисс Миранде: они лежали бок о бок и что-то бормотали под нос, будто находились в разных комнатах.

– Спокойной ночи, – сказал он.

Она приподняла голову с подушки.

– Спокойной ночи, любимая, – повторил гораздо тише.

Она взглянула на стену, к которой он обратился с последней фразой. Там висел портрет его матери – именно такой ее и помнила мисс Миранда.

– Боже, – прошептала она. – Боже правый.

БРЭВИС

Мойра забрала Брэвиса из ветеранского госпиталя, хотя все говорили ей, что это без толку, а, коли ему сделается хуже, она и будет повинна в его смерти. Поправиться ему все равно не суждено, твердили люди, так что зря она хлопочет. Но Мойра была его бабушкой, не забудьте, так что она взяла Брэвиса в Флемптон, где у нее был хороший участок у самой рощи. Речка под боком и леса́ вокруг, а город всего в какой-то миле на запад, если по проселочной дороге, а по ней пройтись – одно удовольствие.

Брэвиса на войне совсем изрешетило, так сказали люди в госпитале: то ли пулями, то ли осколками, то ли всем сразу.

Говорил Брэвис редко. Спросишь о чем, а он моргает и на ногти глядит.

Мойра и не догадывалась, как он плох, пока внук не пробыл у нее с неделю, а там и сокрушаться было поздно. Наверняка пришлось ей погоревать, что взяла его из госпиталя, но если и жалела она иной раз, никогда ни с кем чувствами своими не делилась.

Ее двоюродный брат Кит заходил иногда, качал головой, но ничего не говорил и, недолго просидев, удалялся. Родители Брэвиса уже покинули этот свет и так давно, что их успели позабыть. За-

долго до войны они умерли. Мойра была бабушкой Брэвиса с материнской стороны. Когда Брэвис был маленький, Мойра его не очень хорошо знала. А теперь не понимала, как с ним обходиться: начать с того, что он не контролировал кишечник и, куда бы ни пошел, брал с собой рулон туалетной бумаги.

После того, как он немного пожил у нее, ему вроде бы стало хуже, но Мойра и слышать не хотела о том, чтобы опять вернуть его в больничную палату.

Почти все время Брэвис тихонько сидел на старинном кресле-качалке и смотрел через дверной проем на рощицу за домом.

У него был на удивление хороший аппетит, так что Мойра много времени тратила на стряпню.

«Если я и ошиблась, – так начала она письмо своей сестре Лили, жившей в десяти милях, – я на попятный не пойду, буду стоять на своем, а люди пусть болтают, что им вздумается». Отчего-то она чувствовала, что закончить письмо не сумеет.

Брэвису нравилось ходить на почту и отправлять ее письма, так что лучше уж написать что-то другим родственникам, а он отнесет казенную открытку на главпочтамт, прихватив рулон туалетной бумаги. Именно эта его привычка, а не то, что случилось потом, и заставила людей судачить. У Мойры не хватало духу сказать Брэвису, чтобы не носил с собой рулон, да и знала она, что без бумаги ему не обойтись.

«Он столько всего сделал ради своей страны, отчего же люди не могут отвернуться, если видят, что он идет?» – написала она Лили.

– Брэвис, зайди, посиди. Пусть твои бедные ноги отдохнут, – сказала Мойра ему как-то раз, когда он ради нее сходил на почту в знойный ав-

густовский день. – Ты весь горишь: шел по такой жаре!

Она попыталась забрать у него туалетную бумагу, но он вцепился и не отдавал.

И после этого уже никогда не выпускал рулон из рук – и за обеденным столом, и когда сидел на крыльце и глядел на лес, и когда ходил на почту.

Мало-помалу она стала замечать, что все поры на его теле медленно исходят влагой, и нельзя сказать, что он больше не думал словами или не слышал слов, нет, но он был полностью поглощен тихими, похожими на шепот звуками, поднимавшимися из влажных частей у него внутри, а внутренности, израненные и изувеченные, принялись бережно покидать его, и казалось, что все, скрытое в нем, в один прекрасный день мирно выйдет наружу, так что нутро и кожа сольются в одну влажную массу. Мойра уразумела это и не спускала с него глаз, если, конечно, он не уходил на прогулку. Но она все равно не жалела, что взяла его из ветеранского госпиталя. Не согласится она, что это ошибка, не вернет его обратно. Нет, он ей родной, единственный человек на свете, кто считается с ней, и до конца его дней она останется рядом.

Она всегда говорила, что, когда он пару раз в неделю смотрит на нее и произносит «Мойра», для нее это лучшее вознаграждение. Это означает «спасибо», думала она, вот что это значит, и даже любовь. Его глянцевые каштановые волосы и борода, густая, как звериная шерсть, постоянно омывались струями пота. В такие минуты она трогала его волосы, и рука ее становилась мокрой, точно она выжимала швабру. Злосчастья, которые перенесло его тело, не сказались на волосах: они, можно сказать, расцвели. Ни волосы, ни бороду никогда не подстригали по теперешней моде.

Проведя с Брэвисом несколько ночей, она сообразила, что он не спит. Она и сама спала очень мало, но под утро на два-три часа погружалась в дрему. Мысль, что он не спит вообще, потрясла ее спокойный рассудок пуще всего остального. И все же она не сожалела о своем поступке. Она владела этим домом, землями вокруг, а Брэвис был от ее плоти и крови, и ради него она готова была что угодно сделать. Кроме того, она вообще не хотела, чтобы он лежал в госпитале для ветеранов, это ее кузен Кит устроил. Она отменила его задумку – вот отчего Кит так на нее взъелся.

Все началось в тот день, когда она навещала Брэвиса в госпитале, солнце как раз собиралось садиться. В его отделении никого не было, только черномазый мыл пол. Она взяла руку Брэвиса и, сжав ее, заговорила, словно умоляя на коленях: «Брэвис, ты выберешь бабушкин дом или хочешь жить тут? Скажи мне честно». Он глядел на нее, точно малое дитя, встревоженное среди ночи сиренами пожарных. Смутился, но пытался сосредоточиться на ее словах, долго молчал, а потом произнес: «Бабушкин дом» и кивнул несколько раз.

Так что, вопреки всем советам, инструкциям и мольбам, невзирая на мнение докторов и медсестер, которые говорили с ней и даже кричали на нее, она забрала его к себе. Одна сестра дала ей рулон туалетной бумаги, и они с Брэвисом ушли. Мойра была ошарашена и не могла отказаться от рулона, а Брэвис, словно уловив ее смятение, взял у нее бумагу, как подарок, и они спустились по длинному маршу белых чисто вымытых ступеней к грузовичку мистера Квиса, а потом приехали домой.

«Знаю, конечно, что меня будут осуждать, – закончила она открытку Лили в тот день, когда привезла Брэвиса, – но я чувствую, что получила

послание от его родителей с небес. Хочу перед смертью сделать что-то для мальчика».

Стоило ей написать эти слова, и она увидела, что Брэвис, словно повинуясь телепатическому сигналу, ждет открытку, чтобы отнести на почту.

Иногда Лили телефонировала ей из Ист-Портиджа. Во время этих разговоров Брэвис, с которого бабушка не спускала глаз, садился в кресло-качалку и, положив рулон туалетной бумаги на колени, качался и качался беспрерывно. Даже со своего места в соседней комнате она видела, как влага выходит из его кожи и волос.

– Он выложился весь, – Мойра снова и снова возражала по телефону Лили. Когда она произносила эти слова, Брэвис поглядывал на нее, и нечто неясное, слабое подобие улыбки, скользило по его губам. На его лице никогда не появлялось понятного выражения – если таковые и были, они, должно быть, хранились в глубинах его внутренностей, толкавшихся и рвавшихся наружу, желавших развернуться простыней, покрыть его кожу и волосы.

Порой заходил кузен Кит, но дальше веранды не ступал и всегда настаивал на одном и том же:

– Хотя бы пристойности ради, – говорил Кит, – верни его в больницу.

– Они для него ничего не делали, – спорила с Китом Мойра.

Когда они с Китом говорили на веранде, Мойра то и дело с беспокойством заглядывала в дом. Она слышала, что кресло Брэвиса качается все быстрее и быстрее.

– У него есть право умереть рядом с близкими, – твердо заявила Мойра Киту, и Кит после этого встал и уехал взбешенный.

Вернувшись в дом, Мойра взяла руку Брэвиса, но тот резко выдернул ее и снова вцепился в рулон туалетной бумаги.

На самом деле руки его замирали, только когда касались рулона. Эти рулоны для него как снотворный порошок, думала она. Казалось, он спит, когда они лежат на его колеблющейся груди.

В кухонном шкафчике у нее хранился изрядный запас бумаги. Рулоны были разных цветов, но на такие мелочи Брэвис внимания не обращал.

– Все самое лучшее для тебя, Брэвис, – иногда говорила она громко. А потом добавляла потише: – Все самое лучшее для моего любимого.

Она чувствовала, что он слышит ее, хотя и сообразила, наконец, что слышит, чувствует и знает он лишь послания, которые нескончаемая влага, текущая внутри, доверяла ему, эти ручейки крови и лимфы, излияния его артерий и вен, что перешептывались и сообщали о невосполнимом ущербе, разрухе и грядущем кошмаре.

Как-то раз, когда она мыла ноги Брэвиса в тазу, на улице все стихло, не проехала ни одна машина, и Мойра, несмотря на слабость слуха (она была глуховата на одно ухо), вдруг стала прекрасно понимать звуки у него внутри. Она застыла на миг, недоверчиво, в страхе, и в то же время с долгожданной радостью, что способна разделить его знание. Старательно прислушивалась и уловила довольно много идущих изнутри бесчисленных звуков, которые он слышал постоянно. Теперь ей все стало ясно. Их глаза коротко встретились, и вроде бы он кивнул ей, давая понять: он знает, что она услышала звуки и разгадала их. Мойра сжала его ступни. Так их близость стала еще крепче.

Она перетащила свою койку в его комнату, и они лежали по ночам без сна, слушали его тело и

ждали дня, или, быть может, ночи, когда произойдет самое страшное.

Теперь он совсем не говорил, а она иногда напевала вместо того, чтобы выговаривать обычные слова, лишь изредка произносила: «Вот это славно, очень славно. Попробуй-ка бараний бульон».

Голоса его внутренностей что-то сотворили с ней. Она и раньше все это знала, пока была матерью, бабушкой, но, услышав тело молодого человека, юноши, который и пожить-то толком не успел, Мойра на какое-то время перестала что-либо делать.

Мало-помалу вернулась к домашним делам, но все уже было не таким, как прежде.

Мистер Квис, который помог привезти Брэвиса домой, теперь снабжал их хлебом и прочими продуктами, в том числе свежими овощами. Он всегда стоял на веранде, ожидая, когда Мойра выйдет и заберет еду.

Брэвис пробовал всё, что она готовила, но большую часть выплевывал в тазик, стоящий возле стола для этой цели. Правда, его аппетит не пострадал. Пока он ел, они с Мойрой ненароком слушали звуки, исходящие из глубин его тела.

Вскоре они совсем перестали разговаривать, разве что Мойра сама себе давала команды – например, говорила: «Сегодня вечером надо постирать все твое исподнее. И придумать новое блюдо, чтобы порадовать тебя, Брэвис, а то я совсем разучилась стряпать».

Тут Брэвис кивал, и его кивки были для нее как тысячи улыбок.

– Тут лучше, чем там, где ты был? – допытывалась Мойра, почти срываясь на крик.

Брэвис смотрел на ее рот – точнее, на подбородок. Она повторяла вопрос. Словно откликаясь, шум его тела нарастал.

Они стали выходить в сад, и он наклонялся, собирал семена черной настурции и держал в руках. Ночью, когда ему надоедало сжимать туалетную бумагу, он играл с семенами.

Однажды они лежали рядом во мраке, и Мойра громко заговорила. Она спала так же мало, как Брэвис – в сущности, вообще не спала. Заговорила она так громко, что ветер унес ее слова через окно во двор:

– Брэвис, меня ругают за всё. А я жалею лишь об одном: что не смогла забрать тебя раньше. Слышишь? Только это и надо было сделать, только это…

Вскоре его волосы и чело покрылись жирными бусинками влаги. Она часто думала, что все время тратит на то, чтобы вытирать с его лба жидкость, тут же появляющуюся вновь. Ей вспомнилось, как давным-давно ездили в машинах без дворников, и снег, дождь и морось беспрепятственно пятнали стекла. Автомобиль останавливался, ветровое стекло чистили, но все без толку.

– Я и объяснить не могу, как это важно, что ты со мной, – говорила Мойра, вытирая его лоб среди ночи, – я ведь ничего не делала, пока тебя не было, – продолжала она. – Кузен Кит и моя родная дочь приходили сюда и сразу думали, что надо поскорее смыться. Я говорила им все, что знаю. Они слушали мои россказни, пока им не становилось тошно, даже если я просто говорила о том, какая на дворе погода. Я им осточертела, но ты, Брэвис, позволил мне поделиться тем, что у меня осталось.

Отговорив, она вытерла его лоб почти насухо, но тут накатила еще одна волна влаги, и всё снова намокло.

– Внук мой дорогой, Брэвис, – шепнула она так тихо, что он не мог услышать.

После долгого молчания продолжила:

– Мои слова интереснее мистеру Квису, чем дочери и сыну. А кузен Кит меня вообще не слушает.

Его лоб намокал, а утробные голоса начинали говорить настойчиво, властно. Она чувствовала, что они причитают о чем-то отобранном у него, и Брэвис теперь не глотал то, что разжевал и распробовал, а выплевывал сразу.

Так они с Мойрой слушали властные звуки, возникающие у него внутри. Бабушка и внук все глубже погружались в молчание, точно сидели перед политическим оратором или проповедником слова Божьего.

Как-то утром, выбираясь из полудремы, Мойра услышала шум у камина. Она позвала Брэвиса, но поняла, что он вряд ли расслышит: гул его крутящихся внутренностей заглушал прочие звуки.

Она вошла в соседнюю комнату и увидела, что Брэвис засунул голову в трубу. Камин был высокий, и Мойре видны были даже рот и часть носа, поскольку стоял Брэвис не очень прямо.

– Брэвис, что стряслось? – она пригнулась, чтобы заглянуть ему в глаза. – Тебе там удобнее, милый мальчик?

Прошло немало времени, прежде чем Брэвис вылез из трубы. Он выглядел счастливее, и это порадовало Мойру. Они пошли на кухню, и она приготовила ему завтрак.

И тут, наконец, поняла, что ей грозит, поняла, что, возможно, сделала ошибку, не послушав опытных медсестер и докторов, проигнорировав советы родни. Она вспомнила, что и ее добрый друг мистер Квис смотрел на нее недоуменно, а может и осуждающе.

Но пересмотреть свое решение Мойра не могла. Она все сильнее чувствовала, что не откажется от Брэвиса. Прислушавшись к своему сердцу, по-

нимала, что никогда еще не любила никого так беззаветно. Казалось, ее собственные внутренности вопиют в унисон с его утробой. И все же решила спросить его еще раз.

Осушая ему лоб, она прижала его голову к своей и произнесла:

– Слушай хорошенько, Брэвис, потому что Мойра хочет все сделать правильно. Не думаешь ли ты, что лучше вернуться в госпиталь? Скажи слово, и я сделаю, как ты хочешь.

Он не ответил, и в тишине она принялась расчесывать его волосы – мокрые, хоть выжимай.

– Скажи слово, Брэвис, и я сделаю, как тебе по вкусу.

Он не ответил, и она облегченно вздохнула, ибо его молчание означало, что возвращаться он не желает.

– Ты ведь не нашел в моих словах намек, что тебе лучше уйти? – обернулась она к нему. – Ради всего святого не думай так, Брэвис. Ты для меня желанней солнышка. Я всем тебе обязана, золотко.

Теперь она знала, что никогда больше не заговорит с ним о возвращении.

Он наверняка отозвался бы, если бы считал, что пришло время снова лечь в больницу.

Теперь по ночам он почти все время стоял в дымоходе, так что вскоре она перетащила свою койку в центр гостиной, чтобы находиться поближе. Было уже совсем невмоготу, но она не могла запретить ему стоять в камине, и в госпиталь не могла положить.

Его болезнь пахла так, что никто их больше не навещал. Мистер Квис и тот подходил лишь к двери веранды, оставлял съестное на столике и удалялся. Кузен Кит не появлялся вообще.

Мойра часто шепталась с мистером Квисом в кладовке.

– Он выложился весь, мистер Квис, а я даю совсем немного в ответ на то, чем он пожертвовал, так-то вот.

Ей стало казаться, что Брэвис поселился у нее по собственной доброй воле, что она не вынуждала его переезжать сюда, на окраину Флемптона, а это он сам написал ей и спросил, нельзя ли к ней перебраться. Она никогда еще не ведала такого счастья, такого покоя, не занималась таким полезным трудом. Мистер Квис, хоть и не заходил в дом проведать Брэвиса, был само понимание. Он слушал. Он разумел, в отличие от кузена Кита, от ее сына и дочери. Мистер Квис не говорил ни слова поперек.

Теперь Брэвис отказывался вылезать из облюбованного дымохода. Он провел там целый день и целую ночь. Мойра понимала, что приближается страшный перелом, и все же не хотела звать врача или сообщать в ветеранский госпиталь. Брэвис пообещал ей остаться до последнего.

Мистер Квис появился, когда ужас был в самом разгаре. Воняло нестерпимо, и он сказал, что останется, как обычно, на веранде, а если она решит, что в этом есть смысл, зайдет помочь.

Брэвис начал царапать и скрести кирпичи, но вместо пыли, выходящей из дымохода, Мойра увидела волну пота, словно прорвало трубу, а следом хлынули настоящие реки крови.

Мойра умоляла Брэвиса вылезти из камина и прилечь на кровать, но звуки его тела тут же стали втрое громче. Даже мистер Квис слышал их на улице.

Порой Мойра выкрикивала имя Брэвиса, но гул механизмов у него внутри заглушал ее слова.

Потом его рот покрылся пеной, падавшей пушистыми хлопьями, точно с дешевого пива на жаре.

Мойра чувствовала, что должна поддерживать тело Брэвиса в трубе, ибо таково его желание.

Мистер Квис кричал с веранды, не надо ли помочь, но она либо не слышала его, а, когда все-таки слышала, была слишком занята и не могла ответить.

Кульминация приближалась, какой бы она ни была; «кончина», думала Мойра, вот подходящее слово. Его страдания достигли предела, и вот она тут, единственная родня, помогает в тяжкий момент. Ни одна медсестра, ни один врач не смогли бы сделать то, что делала она, и эта мысль укрепила ее и утешила.

– Скажи, мой милый мальчик, не должна ли я сделать что-то другое, не то, что я делаю, – вскрикивала Мойра, но звуки в его утробе заглушали ее голос.

Внезапно он высунулся из трубы и указал с диковинной величавостью на рулон туалетной бумаги.

Она отмотала часть и положила бумагу, чтобы он смог дотянуться. И тут впервые заметила, что Брэвис стоит голый, но присмотревшись, решила, что он по-прежнему одет, только одежда стала того же цвета и так же промокла, как и его кожа, порвавшаяся до того, что обнажились внутренности. Одежда теперь походила на его лопнувшую кожу и кровоточащие органы. Брэвис не столько истекал кровью, сколько взрывался изнутри.

Ему удалось налепить обрывки туалетной бумаги на те части тела, что полопались страшнее всего.

Вскоре один рулон кончился, и Мойра крикнула мистеру Квису, чтобы зашел в кладовку, где лежали остальные, и бросал ей один за другим, поскольку Брэвис использовал их очень быстро.

– Ближе подходить не надо, – посоветовала она мистеру Квису. – Развязка, дорогой друг, близка.

Казалось, Брэвис расходовал целый рулон мгновенно, как только получал. Остались всего четыре. Он обматывал себя, и бумага тут же краснела от влаги, хлеставшей из всего тела.

Последний рулон кончился, и Мойра не знала, чего ожидать.

Ей почудилось, что Брэвис кричит, но она поняла, что все эти шумы и звуки, раздававшиеся в его теле, теперь переместились в гортань и вынуждают голосовые связки вибрировать, словно он говорил. Потом ей показалось, что он произносит одно слово или часть незавершенной фразы: – «Избавь!» – снова и снова. «Избавь».

Затем жуткий шум стаей птиц взметнулся над ее головой и оглушил. Она упала, выпустив его ноги, и тут же гигантский поток крови и внутренностей окатил ее, а его тело, с головы до пят обмотанное туалетной бумагой, грузно обрушилось сверху.

Мойра не знала, как смогла встать и проделать нелегкий путь на веранду, где, трепеща, ожидал мистер Квис. Вряд ли нужно было объяснять, что внука больше нет. Мистер Квис безмолвно стиснул ее пальцы и прижал к своим губам. Затем еле слышно прошептал, что пойдет сообщить всем заинтересованным лицам о том, что тяжкое бремя жизни Брэвиса наконец-то пало.

Издательства «Kolonna Publications» и «Митин Журнал» представляют

Джеймс Парди
Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Столетняя, но юная наследница нефтяного состояния нанимает истекающего кровью двадцатидевятилетнего пожилого негра, дабы тот следил за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако прекрасный Илайджа любит только одно существо – своего немого правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого американского прозаика.

Ладислав Клима
СТРАДАНИЯ КНЯЗЯ ШТЕРНЕНГОХА

В 1928 году, когда «Страдания князя Штерненгоха» впервые увидели свет, члены профсоюза чешских учительниц отказались от подписки на книжную серию «Плеяда», в которой была опубликована эта книга, поскольку «не покупают порнографию ради красивой обложки». Сам Ладислав Клима говорил, что его роман «в 10 раз реалистичнее и отвратительнее, чем Золя, в 10 раз фантастичнее, чем Гофман, в 10 раз непристойнее, чем Казанова, в 10 раз извращеннее, чем Бодлер, короче говоря – аморальность, хулиганство и безумие».

Габриэль Витткоп
СОН РАЗУМА

Муж забивает беременную жену тростью в горящем кинотеатре, распутники напаивают шампанским уродов в католическом приюте, дочь соблазняет отцовских любовниц, клошар вспоминает убийства детей в заброшенном дворце, двенадцатилетнюю девочку отдают в индонезийский бордель… Тревога – чудище глубин – плывет в свинцовых водоворотах. Все несет печать уничтожения, и смерть бодрствует даже во сне.

Издательства «Kolonna Publications» и «Митин Журнал» представляют

Джослин Брук
ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя?

Джереми Рид
В ПОГОНЕ ЗА ЧЕРНЫМИ РАДУГАМИ

Знаменитый английский поэт реконструирует последние годы жизни Антонена Арто. В книге переплетаются монологи самого Арто, его психиатра Гастона Фердьера, жены Генри Миллера Джун и нимфоманки Дениз, которую Арто встретил в психиатрической больнице Родез в годы Второй мировой войны. Пятый персонаж романа, писательница Анаис Нин, повторяет историю своих увлечений, рассказанную в исповеди “Инцест”.

Пьер Гийота
КОМА

Видеть мир подобно кроту, хоть он видит так мало, или подобно водяному пауку и орлу одновременно; ощущать мир подобно ковровому клещу, крабу или киту; как чайка, которая в мороз сидит на короне статуи короля и согревается своими испражнениями.

Книги издательств
«Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Dodo Space» Рождественский бульвар, д. 10/7
«Гилея» Тверской бульвар, д. 9
«Циолковский» Новая площадь д.3/4
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Проект ОГИ» Потаповский пер. д. 8/12, стр. 2
«Клуб 36, 6» Рязанский пер., д. 3

в Петербурге:
«Борхес» Невский пр., д. 32-34
«Порядок слов» наб. Фонтанки, д. 15
ДК им. Крупской, стенд фирмы «Ретро»
«Индиго», Невский пр. 63а

через Интернет:
«Ozon» ozon.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:
«Либра» librabook.com.ua

По вопросу оптовых продаж
обращаться в ООО «Берроунз», тел. (495) 971-47-92

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Джеймс Парди
МИСТЕР ИВНИНГ

Митин Журнал.
Россия, Тверь, улица улица Брагина, 6А, офис 301
Подписано в печать 03.06. 2011. Тираж 500 экз. Заказ № 1184
Формат 70 х 100/32. Объем 6,5 п. л. Гарнитура itc Charter
Отпечатано в ООО «Осташковская Типография»
172750, Россия, Тверская обл., г. Осташков,
ул. Володарского, 33